КОНСТАНТИН ШИЛЬДКРЕТ

КУБОК ОРЛА

Константин Георгиевич Шильдкрет

Кубок орла

Серия «История в романах»

Серия «Подъяремная Русь», книга 3

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28725768
Кубок орла: Роман: Мир книги; Литература; Москва; 2011
ISBN 978-5-486-03744-3

Аннотация

Константин Георгиевич Шильдкрет (1896–1965) – русский советский писатель. Печатался с 1922 года. В 20-х – первой половине 30-х годов написал много повестей и романов, в основном на историческую тему. Роман «Кубок орла», публикуемый в данном томе, посвящен событиям, происходившим в Петровскую эпоху – войне со Швецией и Турцией, заговорам родовой аристократии, недовольной реформами Петра I. Автор умело воскрешает атмосферу далекого прошлого, знакомя читателя с бытом и нравами как простых людей, так и знатных вельмож.

Содержание

Часть первая 5
Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 23
Глава 4 41
Глава 5 48
Глава 6 60
Глава 7 70
Глава 8 76
Глава 9 85
Глава 10 93
Глава 11 105
Глава 12 110
Глава 13 117
Конец ознакомительного фрагмента. 122

Константин Шильдкрет
Кубок орла

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

Часть первая

Елизавете Ивановне ГИБЕТ, не забывшей «тридцатого, оставшегося там, на сплаве», вечная моя дружба.
Автор

Глава 1
Море уходит

В неуемном буйстве выла метелица.

Вглядываясь в белесую муть, Петр хмурился все больше. Неистовая тоска уже третий день томила его. Лечь бы, растянуться пластом – ни о чем не думать, ничего не решать… А решать нужно. Он зябко передернулся, потирая руки, прошелся по терему и снова остановился у окна, молчаливый, злой, опухший от бессонницы и вчерашнего хмеля. «Ишь, воет, проклятая! Самому от нее, от ведьмы, впору бы взвыть…»

За столом, подперев пухлым кулаком двойной подбородок, сидел Петр Павлович Шафиров – глубокомысленно рассматривал на карте места предполагаемых военных действий со шведами. Черные, чуть насмешливые глаза его щурились. Влажные губы казались тонкими на белом упитанном лице.

– Когда же она угомонится, проклятая! – простонал Петр. – А ни зги… Словно могила тебе…

– Могила и есть, – с нарочитой веселостью подхватил Шафиров. – Так и чудится, государь, будто в землю гроб опускают. Ну, ей-же-ей, упокойничка во гробе зрю.

– Хмелен ты, что ли?

Шафиров встряхнулся, еще веселее, еще увереннее крикнул:

– Признаю, да! Карл во гробе!

Грустная улыбка скользнула по лицу царя.

– Карла, говоришь, во гробе узрел?

Петр Павлович перехватил улыбку и без всякой робости, как равный равного, обнял государя.

– Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет… Будет, Петр Алексеевич! Как волка в яму, в гроб вгоним шведа.

– А что, ежели он меня в гроб? – усмехнулся государь и вдруг изо всех сил стукнул кулаком по столу. – Нет! Не бывать тому! Что нос повесил, Петрушка? Не пропадем!

Шафирова не очень обрадовал резкий переход этот от уныния к веселью и бодрости. Кто-кто, а уж он знал, как часто резкие переходы кончались звериным гневом, жестоким припадком.

«Будет бить, – горько подумал Петр Павлович. – Обязательно будет». Набив трубку, он разжег ее и торопливо сунул в рот государя. Петр трижды затянулся и побежал вдоль стен

по бесконечному кругу.

– Ну, говори, – на полном ходу остановился он, выпустив в лицо советнику едкую струю дыма.

– Доподлинно знаем, – сразу, без лишних слов, начал Шафиров, – через малое время швед уйдет из Польши в русский поход. А имеет Карл двадцать четыре тысячи человек кавалерии и двадцать тысяч пехоты. Да на подмогу к нему всякий час может прийти из Лифляндии генерал Левенгаупт с четырнадцатью тысячами человек.

Все это Петр знал сам.

Что в самом деле ждало его впереди? Страна с каждым днем нищает. Леса кишат беглыми. К ватагам все чаще примыкают воинские отряды. Союзники вероломны – только и ждут того часа, когда из друзей можно будет превратиться в недругов и разодрать Российское государство на куски. Одна Польша еще кое-как держится. Но и на нее особенно полагаться не приходится. Посадит Речь Посполитая королем Станислава, и все будет кончено, прахом развеется дружба.

А шведы? Их наступление несет с собой гибель. И страшнее всего, что движутся они к украинским рубежам, туда, где живут самые непокорные московские холопы – запорожцы.

«Неужто ж правду говорят про Мазепу?» Петр стиснул ладонями виски. Его глаза округлились, стали еще чернее. Ноздри раздулись. Через лоб поползла под коричневую шапку волос тонкая синяя жилка.

– Ну, чего приумолк? – выкрикнул он сквозь зубы. – Го-

вори… радуй далее.

«Будет бить, – потупил глаза Петр Павлович. – Обязательно будет…» И, вздохнув, поклонился:

– Покель все, государь.

– Все-о! – передразнил царь. – Покель все-о! Мало ли? Таково утешил, что хоть в прорубь. – Он вытянул шею и прислушался. – Ревет-то, а? Ревет каково за окном? Словно море в непогоду.

Он опустился на лавку. Голова его склонилась на подставленную ладонь, лицо обмякло, как у тяжелобольного, на миг почувствовавшего облегчение.

– Море… Нам ведь крохотку эдакую… Махонький клочок берега с пристанями… А оно уходит. Уходит море от нас! И не удержим его. Какая война может быть, коли казна пуста?

Шафиров будто ждал этих слов.

– Будет казна, – сказал он громко и твердо. – Только сотвори то, о чем не единожды на сидениях думали…

– На части, что ли, Россию разбить? Дворянам раздать в полное управление?

– Так, государь.

– Рано. Пускай поучатся еще малость.

Петр сердито фыркнул. Советник, глядя на него, пожал плечами.

– Хочешь – гневайся, хочешь – с глаз долой прогони за дерзость мою, а подменили тебя, Петр Алексеевич. Словно бы не владыка Санкт-Питербурха передо мною…

– Че-го-о?

– Да! Словно зельем опоили тебя. Во всяком деле тебя ныне сумленье берет. Убей, а я и при последнем издыхании помазаннику Божьему правду скажу. Ты, сам ты сему обучал.

Шафиров не ошибся. «Правда» попала в цель.

Петр ласково ударил его по плечу:

– Коли правду, сыпь, брат, не сумлевайся.

Откинув далеко трубку, он вскочил и снова заходил по терему уверенно и четко, как на учении с преображенцами.

– Говори.

– Говорить-то нечего. С губернациями погодить еще можно, а что касается Литвы, послушайся, Петр Алексеевич, генеральского совета. То не в бесчестие, но во славу твою.

– Отступить от Литвы?

– Отступить, Петр Алексеевич.

Оба склонились над картой, водя по ней пальцами, долго изучали каждый изгиб трущоб и трактов. Все замечания государя советник тут же, не споря, записывал до последнего слова.

Безответное послушание вывело царя из терпения:

– Эк задолбил: «Да, да…» Когда же «нет» скажешь?

Шафиров приложил обе руки к груди:

– Верь не верь, а ей-ей, нечему некать. Словно бисер нанизываешь.

– А ежели я вдруг со зла Литву велю разорить, сие как?

– Тот же бисер, Петр Алексеевич. Нешто не разумею я,

что не потехи для разоришь ты тот край, а к тому, чтобы шведы шли по Литве, как иудеи в пустыне?

Петр призадумался. Смести с лица земли города и деревни, чтобы лишить Карла возможности иметь под рукой провиант и фураж, было нетрудно. Один полк солдат справился бы с этим походя. Царя смущало другое. Он боялся ожесточить население, и без того недовольное хозяйничаньем русских.

– Не замутил бы народишко…

Шафиров самоуверенно расхохотался:

– Пускай только сунутся! Пороху достанет еще про честь литовскую.

– Значит, так, – укрепился в своей мысли Петр. – Пиши: «Отступать и дороги все портить, а буде возможно где, лесом и каменьями забросать».

Советник усердно заскрипел пером.

– Про всякий случай не худо бы и Москву укрепить, – сказал он, не поднимая головы. – Мало ли что бывает…

– Я про сие уже Федору Юрьевичу наказал.

Голос Петра уверенно зазвучал, повеселело лицо. Вместе с принятым наконец решением к нему вернулась обычная его сила. За окном по-прежнему ревела метелица, но государь теперь, прислушиваясь, уже наслаждался ею.

– Силища-то, а? Кого хочешь сметет! Эх ты, морюшко… Зазнобушка моя, море!

Он приказал подать вина и, налив кубки, чокнулся:

– Пей, Петрушка! Пей, Петр Павлович, брат мой любезный! За берег морской… И памятуй, что только через сих артерий может здравее и прибыльнее сердце государственное быть.

Ночь близилась к концу. Сквозь промороженные оконца сочился мутный от снега рассвет. Царь развалился на лавке. Одна его рука упала на пол, другая крепко сжимала чубук. Не глядя на советника, он спросил:

– Уходишь?

– Ухожу, государь.

– Ну-ну, иди, – сладко зевнул Петр и тотчас же вспомнил: – Да! Про челобитчиков-то я и запамятовал…

– Кочубеевых?

– Кликни обоих. Послушаем, какую они про Мазепу песню сыграют.

Шафиров послушно бросился исполнять приказание.

Глава 2
Послы Кочубея

– Где же монах? – спросил Петр Павлович, растолкав крепко спавшего челобитчика.

– Где ж ему быть? Молиться пошел. Богомольный он у нас.

Наскоро протерев глаза, челобитчик отправился вслед за советником по темным переходам. Он знал, что скажет сейчас царю, у него было достаточно времени, чтобы все хорошенько взвесить и обсудить с иеромонахом Никанором. Поэтому держался он уверенно, даже немного надменно.

Однако у входа в горницу его вдруг охватила робость. Мысль, что сейчас он увидит самого государя московского, невольно делала его маленьким, ничтожным. А такое состояние было чуждо челобитчику. За сорок пять лет жизни он повидал всяких людей – одних уважал, других ненавидел, третьих ни во что не ставил. Не раз бывал он и в боях. И все же никогда не терял достоинства, «ласки к своей чести казацкой».

«Эй ты, спидница! – выругался казак втихомолку. – Чего злякался?» И в сердцах пребольно дернул себя за ухо.

Шафиров приоткрыл дверь:

– Ты не бойся… Перекрестись и иди.

Это напутствие ударило челобитчику в голову. Как? Его,

Яценку, почитают трусом?! Он с таким негодованием уставился на Шафирова, что наблюдавший из терема Петр захохотал.

Яценко задрал высоко косолапую ногу, будто взбирался на седло, и, все же умудрившись задеть едва приметный порог, ввалился в терем.

– Тьфу на вас, бисовы ноги! – рассвирепел он окончательно, едва не угодив головой в грудь государю. – Тьфу!

Петр не без удовольствия рассматривал нескладного, ростом под потолок, детину. Он понимал, что не ноги казака виноваты, а смущение перед московским царем. Это льстило царю и невольно располагало к челобитчику, тщетно пытавшемуся принять независимый вид.

– Из Диканьки? – запросто усадил Петр гостя.

Несоразмерно маленький на огромном лице носик казака покраснел, как спелая вишня на солнышке. Глаза недоуменно скосились на государя. «Что это за чудной человек, в самом деле?» Правда, Яценке говорили, что царь держится просто, терпеть не может разных почестей и церемоний. Но все-таки ведь царь же он!

Яценко смущался все больше. «Уж не каверзу ли какую готовит? – подозрительно думал он. – Вот так посидит, посидит, а потом как цапнет, быдло, и дух из тебя вон… Они все, москали, лукавые, как ведьмы наши с Лысой горы».

– Из Диканьки, – ответил он после долгого молчания.

– А из каких будешь?

– Казак, – гордо выставил грудь Яценко. – Душою казак, а по батьке евреем считают. Батько мой еще манесеньким хлопчиком был, когда в нашу православную веру окстился.

Петр ободряюще подтвердил:

– Мало ли у кого какой батька! Вот видишь знатного сего господина? – указал он на Шафирова. – Тоже родителя еврея сын. А сам наш, русский. И ты, казак, русский.

– Украинец я! – забываясь, вскочил Яценко.

Государь и Петр Павлович так и покатились со смеху. Казак не на шутку перепугался. «Скаженный язык! – выругался он про себя. – Никуда от него не денешься. Болтается, как хвост у старой кобылы».

Он воззрился на образ и дал мысленное обетование трижды взвешивать каждое слово, прежде чем произнести его вслух. Сесть он не соглашался до тех пор, пока раздраженный окрик не заставил его повиноваться. Свесив огромные лапы почти до самого пола, он до боли в висках стиснул зубы и только после этого, решив, что путь лишним словам основательно прегражден, немного успокоился.

– От Кочубея приехал? – уже строго спросил государь. – А почему один? Куда тот самый… отец Никанор подевался?

– Угу, – не разжимая губ, промычал челобитчик.

– Чего «угу»?

– Молится отец Никанор.

Царь кивнул Шафирову:

– Дай ему, Петр Павлович, вина испить. Видишь, обалдел

от русского духа сей у-кра-и-нец.

Перед Яценкой мгновенно появился налитый до краев кубок. Сивуха забулькала в горле, разлилась по нутру жгучим, сладостным теплом.

– Теперь так, – усмехнулся Петр. – Теперь вижу, что истинный казак предо мною… Налей ему еще за батюшку моего Алексея Михайловича и за гетмана Богдана Хмельницкого, уберегшего Украину от польской кабалы.

– Хай им обоим двум на том свете легонько икнется, – поклонился казак и осушил второй кубок.

Ему стало совсем вольготно. Полузакрыв глаза, не дожидаясь уже вопросов, он медленно, точно напевая знакомую песенку, принялся выкладывать все вины Мазепы:

– …И рады тайные собирает тот гетман. И жалуется на многие утеснения. Ему и царь Алексей Михайлович сучий сын…

– Ну, ты!.. – прицыкнул Шафиров.

Но Петр остановил его строгим жестом: «Не мешай, дескать, пускай все выбалтывает».

– И Петр Алексеевич ему, – продолжал казак, – быдло. Сковтнули, балакает гетьман, москальские цари, трясьця их матери, Украину нашу. Не Украина стала, а боярская вотчина…

Хмель постепенно рассеивался, голова свежела. Яценко уже отдавал себе отчет в каждом слове. Большие глаза его время от времени вспыхивали колючими огоньками.

Шафиров сидел за спиною гостя и записывал все, что он говорил.

– Я казак, мне на чины и славу – тьфу! Байдуже я соби[1], была бы горилка да воля. Я от щирова сердца кажу: не нужен нам Карл! Хай он сказытся, басурман.

Яценко встал и перекрестился:

– Мне не веришь – отцу Никанору поверь, полтавскому священнику отцу Ивану Святайле и полковнику Искре[2] поверь, неначе, задумал гетьман поддаться под шведскую руку! – Его охватил жестокий гнев. Он сжал кулаки и, увлекшись, занес их над головой государя: – Нету нашей воли казацькой под Карлой ходить! Тебе, православному царю, служить будем.

Он умолк. Петр, стараясь казаться бодрым, спросил:

– Все?

– Все, ваше царское величество.

– Спасибо тебе и на том, казак.

В дверь постучались. Непрестанно кланяясь и истово крестясь, на пороге показался иеромонах.

– Никанор? – холодно встретил его царь.

– Аз есмь смиренный…

Монах потянулся к руке государя. Но Петр отстранился, шагнул к противоположной двери.

---

[1] Безразлично мне.

[2] *Искра* Иван Иванович (1647–1708) – полтавский полковник, родственник и сподвижник Кочубея, казнен вместе с ним.

– Довольно. Наслушался! Завтра будет твой черед.

Ни на кого не глядя, он выбежал из терема. Никанор с мольбой уставился на Шафирова. Прием, оказанный ему, ничего доброго не сулил. Недаром ему не хотелось ехать в Москву, да еще с простым казаком Яценкою. Отец Никанор был человек расчетливый, осторожный, терпеть не мог опрометчивых поступков. Разве в том честь, чтоб на рожон лезть? Вот и дождался: едва переступил порог, а его уже гонят, как последнего холопа. Хоть бы к рясе уважение какое имели… Нет, зря, зря впутался он во всю эту историю!

Запершись у себя в опочивальне, Петр крепко задумался. Сомнения одолевали его. Яценко сначала представлялся ему парнем-рубахой, неспособным на ложь, потом, припоминая его улыбку, настороженные взгляды, слишком уж дерзкие речи, он вдруг понял, что перед ним скоморошествовал прожженный плут. Несколько раз он порывался немедля допросить отца Никанора, свести его с казаком, чтобы хорошенько прощупать обоих и понять, что у них на уме. «Только бы дознаться правды, – не миновать тогда Мазепе со всеми споручниками дыбы и плахи! Но что скажет на сие украинская старшина? Не сам ли я сим действом толкну ее к Карлу? – подумал Петр. – Нет, уж лучше до поры до времени погодить. Может, еще и облыжно Кочубей поклеп возводит…»

Уже давно проснулась Москва и отзвонили к обедне, а

царь все шагал и шагал по кругу, думая свою думу. За дверью, не смея войти, стояли Марта Скавронская[3] и Шафиров. Тяжелое топанье, частые плевки и скрип зубов говорили им о душевном состоянии государя. Но войти с утешением они страшились. Петр нуждался не в утешении, а в совете, они же были бессильны распутать крепко затягивающийся украинский узел.

Кто-то вошел в сени, хлопнул дверью. Петр Павлович узнал Ромодановского и, поклонившись, суховато предупредил:

– В расстройстве царь.

Федор Юрьевич, не ответив на поклон, уверенно направился в терем. Трижды перекрестился он на образа, по старинному чину коснулся заросшими щетинкой пальцами половицы.

– Поздорову ли, государь?

– Тебе еще чего тут надо ни свет ни заря?!

– Эк, ведь зарю увидал! Люди добрые отобедавши, а он утреневает еще.

Царь с изумлением повернулся к оконцу, подул на стекло.

– Иль полдень?

– У людей полдень… А токмо вот мой тебе сказ: не птенцы мы твои, а пасынки. Во-во… Не артачься – пасынки.

---

[3] *Марта* Самуиловна *Скавронская* (1684–1727) – по легенде, родом из литовских крестьян, наложница Меншикова, затем жена Петра I, русская императрица Екатерина Алексеевна, как Екатерина I правившая после смерти мужа.

Влипшие в багровые щеки тоненькие усики князя-кесаря шевельнулись не то в досаде, не то в усмешке.

Петра невольно передернуло:

– Не в хулу тебе, а от души говорю: измени ты лик свой. Тошно мне смотреть. Ну, чистая монстра!

Федор Юрьевич прищурился, поджал губы. Короткая жирная шея его стала похожа на гранатовый ошейник развалившейся посреди опочивальни любимой царевой собаки Лизет Даниловны.

– А во-вторых, – зарычал он, – цидула от…

– Ты во-первых забыл, – не зло прикрикнул Петр.

– И во-первых будет… Не уйдет!.. А во-вторых, цидула из Батурина от Мазепы.

– Да ну?

– На вот, держи.

Цидула сбила Петра с толку. В ней было подробно прописано все, о чем на рассвете говорил Яценко. Мазепа не жаловался на Кочубея – он даже кручинился за него и никак не мог взять в толк, почему генеральный судья сам себе «роет могилу».

«Неужто за дочку другой мести не выбрал? – приписано было довольно игриво в конце. – Не краше ли было б честно, как подобает пану, шпагой меня проучить?»

Все очень походило на правду. В цидуле откровенно рассказывалось, что Мазепа полюбил дочь Кочубея Матрену и хотел взять ее в жены, а родители вдруг заупрямились. «То

шло, как шло, а тут – ни туда ни сюда. Что ж, ваше царское величество, – читал вслух государь, – любовь мухе подобна: гони в дверь, она – в окно».

Иван Степанович излагал все это с таким легкомыслием и так соблазнительно рисовал свой образ «старого чертяки, связавшегося с младенцем», что Петр не выдержал, расхохотался:

– Так вот оно чего! Эвона откудова все сие древо произрастает!.. За дочку Кочубей злобится.

Шафиров был такого же мнения. Все было ясно. Судья возводил небылицы на гетмана из мести за поруганную честь дочери.

– А теперь во-первых! – неожиданно заревел Ромодановский. – Я хоть и монстра, а князь-кесарь и Рюрикович. И отцу твоему верой служил, и тебе тако ж служу. И не моги ты, Петр Алексеевич, меня…

– Ты чего? Аль блохи напали?

– Не блохи, а во-первых… Упамятовал? Про во-первых я говорю. За что монстрой меня обозвал?!

– Ну, прости, – сердечно попросил царь. – Давай мириться. – И, приказав подать вина, налил себе кубок. – За вину перед тобою весь выпью, до дна.

Ромодановский завистливо облизнулся:

– Коли так, уж и я повинюсь, что голос поднял противу царя. Налей и мне орленый кубок в кару.

Они дружески чокнулись и потянулись к квашеной капу-

сте.

Вино и бессонная ночь наконец взяли свое. Желтое опухшее лицо царя покрылось нездоровыми бурыми пятнами, под глазами обозначились темные круги.

В опочивальне густо пахло чесноком, кислой шерстью, потом.

– По-спа-ать бы! – с наслаждением протянул государь.

Ему помогли перебраться на кровать. Царева баловница, Лизет Даниловна, прыгнула на постель и, задрав кверху лапки, блаженно притихла. Петр крепко обнял ее.

– Спит, – шепнул Ромодановский, прислушиваясь к дыханию государя и заботливо крестя его.

Но Петр не спал. Схватив за руку Шафирова, он сказал негромко, как в забытьи:

– Пропиши гетману, ве…рю я ему, как себе…

– Нынче же пропишу.

– Да погоди… Не все… Еще в Киев пиши князю Дмитрию Михайловичу Голицыну… что нету моей веры Мазепе… Денно и нощно пускай око имеет за ним. Не верю я, что сыр-бор из-за девки Кочубеевой разгорелся… Комедийным действом тут пахнет.

Яценко в тот же день отправился в обратный путь. «Подальше от греха», – предусмотрительно решил он и не пожелал даже оглядеть Кремль.

– Дюже хлопот много дома, – поблагодарил он пристав-

ленного к нему сержанта. – А казакам и без того будет чего набрехать.

Только за городом казак вздохнул свободнее. Он чувствовал себя так, будто вырвался из горячей бани на вольный воздух.

Стегнув коня, сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул.

Почти нигде не останавливаясь, он скакал день и ночь, весь преисполненный желания как можно скорее покинуть «Москальское царство». «Бис его батьку знает, – плевался он, вспоминая царя, – что за людина такая? В очи глядит, неначе брат родной, а душу под семью замками хоронит. Никак души не кажет своей».

Под конец он так ошалел от непривычных дум, что, прискакав к родным рубежам, мертвецки запил. Не успел он оглянуться, как спустил все деньги, полученные на проезд от Кочубея, пропил коня, сбрую и остался почти в чем мать родила.

Глава 3
Путь к славе

Пока Петр спал, Скавронская заперлась в угловом терему с приехавшим из-под Вильны Александром Даниловичем Меншиковым.

– Пей, мой приятный, – потчевала она гостя, нежно водя рукой по его гладко выбритому лицу.

Меншиков с удовольствием сосал романею, закусывал соленым лимоном и ловил тонкими губами пальчики Марты.

– Не возьму в толк, – приторно улыбался он, – что слаще – романея или персты сии сахарные?

Скавронская игриво потрепала его за ухо. Тогда он шутливо опустился на колени, почтительно приложился к ее платью. Все это выходило у него как-то в меру, неоскорбительно для женской чести – даром что Александр Данилович имел все основания держаться смелее со своей недавней наложницей. С тех пор как бывшая служанка пастора Глюка полюбилась царю, Меншиков резко переменил свое обхождение с ней и никогда не позволял себе никаких вольностей, если не было на то ее собственного желания.

Изрядно выпив, Александр Данилович развалился на тахте, взял в обе руки холеную ручку хозяйки.

– Расскажи что-нибудь, царица моя… А я, коли не прогневаешься, вздремну малость с дорожки.

Пухленькое личико Марты расплылось в довольной улыбке. Она ближе придвинулась к гостю и обняла его.

– Про что рассказать?

– Про что хочешь. Ну, про крестьянку литовскую.

– Озорник, – покачала она головой. – Кто та крестьянка?

– Ты, государыня… Занятно слушать, как наш брат, безродный, словно в сказке, звездою вдруг воссияет.

Скавронская послушно в который уже раз со дня их знакомства принялась за рассказ:

– Отец мой бедный… очень бедный крестьянин.

– И посейчас? – ухмыльнулся Александр Данилович.

– Был. Ныне он отец не служанки, а матери царевых детей.

– Ну и ловко резанула! – восхитился Меншиков. – Не всякой боярыне высокородной столь величия Богом отпущено.

– Было у отца моего три дочери и сын, – продолжала Марта. – Сын пастушок, а мы, девки, служанки. Две в кружале, я – у пастора Глюка. Там, в Мариенбурге, я и попала в полон к Шереметеву.

Она пристально взглянула на гостя и умолкла.

– Говори, говори, – попросил Меншиков.

Но Марта неожиданно вскочила, гневно топнула ногой:

– Почему ты любишь про позор мой вспоминать?.. Ну, была наложницей Шереметева и твоей была, а теперь – царева девка. Я, может быть, скоро и уличной блудницей стану!

Меншиков изумленно раскрыл свои всегда воровато бегающие глаза. Прямой тонкий нос его побелел.

– Неужто царь охладел к тебе?

Она прошуршала юбками по горнице, остановилась у окна.

– Видно, так, ежели снова повадился он дневать и ночевать у Анны Монсихи…

– Ой ли?

– Не «ой ли», а ой!

Меншикову стало не по себе. Как же так? Не может быть, чтобы Анна Ивановна, высокомерная, презирающая его немка, снова начала забирать силу. Ведь как отлично шло все! Какой впереди открывался простор. Вся Москва – да что там Москва! – вся Россия говорила о бывшей служанке пастора Глюка как о царице. Еще год-другой, и она должна была стать венчанной женой Петра. А кто как не хитрая, властолюбивая, жадная до денег и славы Скавронская может помочь Александру Даниловичу взобраться на вершины человеческого величия?

– Как же ты допустила?

Марта надменно выпрямилась:

– Не весьма ли ты кричишь на женщину, которая в одной опочивальне спит с государем российским?

Слова эти несколько охладили пыл Александра Даниловича. Он ткнулся горячим лбом в ладонь и крепко задумался. Что, если Монс одолеет Марту? Все тогда погибло. Проклятая немка обратит их в прах. Могла же она когда-то с самим Петром делать все что хотела! Правда, государь был то-

гда юн, его не окружала еще верная стая птенцов и советников, он только присматривался к жизни, – но все же… Надо было действовать сейчас же, не теряя ни минуты, пока не поздно. Меншиков неслышно поднялся и, распахнув дверь, зорко вгляделся в сумрак сеней. По углам, далеко от терема, прислонившись к стене, дремали дозорные. Он тихо окликнул их и, убедившись, что никто его не слышит, вернулся к Марте, что-то горячо зашептал ей на ухо.

– Ну как тебя не любить? – воскликнула Марта и, вскинув руки, повисла у него на шее.

– Погоди, – отмахнулся «птенец». – Покудова спит Петр Алексеевич, я и почну сие дело. Мигом обернусь.

Он приложился к руке хозяйки и уверенно направился к выходу.

Запахнувшись в потрепанный халат из китайской нанки[4], Петр сидел на кровати и внимательно слушал успевшего уже побывать где надо и вовремя вернувшегося Меншикова. На маленькой, собственной работы царя скамеечке скромненько сидела Марта.

– Ныне все козни Карловы как на ладони у меня, государь. Идет он на нас через Украину. Сие верно, как нынче суббота.

– Идет! – фыркнул Петр. – Про то и нам ведомо. Посему две заботы у нас. Не допустить бунту на Украине, сие перво-наперво. И еще – не дать Карлу, ежели он у нас объявится, с Левенгауптом соединиться.

---

[4] *Нанка* – бумажная ткань.

– Про то и вся думка, Петр Алексеевич! Весьма я в сумлении против Мазепы. И дьяку, что от Петра Андреевича Толстого из Константинополя прибыл, тоже верь, государь. Правду сказывает Толстой, снюхался Карл с турецким султаном. Не зря ж похваляется – я-де парадом по России пройду, а в Москве, в Кремле, на роздых остановлюсь…

– Молчи! – гневно прикрикнул Петр. – Через меру, видно, зазнался, что смеешь при мне такую хулу повторять!

Вечером был собран военный совет, на котором царь объявил, что сам едет в армию.

По случаю отъезда государя князь-кесарь устроил прощальный пир. Но Меншиков, вместо того чтобы поехать к Федору Юрьевичу, отправился, едва лишь стемнело, в Преображенское к царевичу Алексею.

– Поздорову ли, херувим?

Алексей молча поклонился.

– А и сдал же ты, Алексей Петрович! – с притворным участием вздохнул Меншиков. – В гроб краше кладут.

Царевич в самом деле был жалок: впалая грудь, вытянутое восковое лицо, в семнадцать лет – морщинистая и дряблая кожа на шее, сбившиеся от пота и грязи длинные волосы, ниспадающие на узенькие плечи, острый, точно неживой подбородок.

«В гроб краше кладут», – повторил Меншиков про себя, уже не участливо, а с какой-то злобной радостью.

Алексей засуетился:

– Не голоден ли? Уж я так рад, так рад тебе, Александр Данилович!.. Пожалуй, Александр Данилович, садись, – говорил он быстро и заискивающе, обеими руками хватаясь за грудь.

Меншиков никогда не приходил к нему с добром – то передавал, что гневается отец, то усаживал за науки и бил смертным боем по малейшей жалобе учителя-иноземца, то заставлял огромными кубками пить вино и плясать в кругу голых дворовых девок. Царевич выполнял все это беспрекословно. Сам Петр строго-настрого приказал ему ни в чем никогда не перечить Александру Даниловичу и слушаться его как «Господа Бога».

– Ты сядь! Пожалуй, Александр Данилович, сядь…

– Сам-то ты садись, херувим. И… чего ты уставился на меня, как на дух на загробный?

По лицу царевича пробежала судорога. Он с трудом поднял руку, перекрестился и улыбнулся тихой, больной улыбкой:

– Не серчай, Данилыч… А чего я спросить хотел у тебя…

– Спрашивай.

– Я по чистой совести. Не в сетование и не во зло… Пошто, как вижу кого, кто от батюшки, сердечко мое таково часто – тук-тук, тук-тук. И все стучится, стучится, а перстам в те поры студено-студено.

– От лукавого сие у тебя, – не задумываясь ответил Меншиков. – Больно много Божественного вычитываешь, пере-

молился. А от батюшки не вороги, но други с любовью к тебе хаживают, уму-разуму учат.

– Вот и мне так сдается… Не инако от лукавого, – вздохнул Алексей. – А я не в хулу… Ах, да садись же, не мучь!

Александр Данилович присел, но от хлеба-соли отказался.

– Недосуг, херувим. Я на малый часок. Не лясы точить, а с повелением.

«Ну, так и есть, – чуть не заплакал царевич, – принес беду». И, не в силах сдержать зябкой дрожи, переспросил чуть слышно:

– С повелением?

– Наказал государь обрадовать тебя лаской. В Смоленск отправляет. Утресь же поедешь. Потому война у нас, и вместно тебе не Псалтырь читать монаху подобно, но ратное дело творить.

– Я воли батюшкиной не ослушник… Токмо чего я не видел в том Смоленске? Иль без меня мало людей?

– В Смоленске, в Минске да еще в Борисове пала честь тебе провиант заготовить и рекрутов набрать.

Сказав это, Меншиков встал, церемонно поклонился и исчез.

Царевич бросился было за ним, но у самого порога нерешительно остановился.

– Вот так оказия, Иисусе Христе, – обиженно забормотал он. – Куда же мне, хилому, рекрутов набирать?

Из соседнего терема вышел сухой и длинный обер-гофмейстер Алексея, Гизен.

– Ви звайль?

– Не, – замотал головой Алексей и тут же виновато потупился. – А может, и звал…

Гизен ухмыльнулся:

– Как рюсс говориль? Легкий помин? А?

– Пришла?! – бросился царевич к двери.

– Принцесс Трубецка пришель.

В терем впорхнула зазноба Алексея, княжна Трубецкая.

Два гнедых жеребца, запряженные в легкие сани, во весь дух мчали Меншикова к Немецкой слободе. Спускалась студеная, глухая московская ночь. Улицы быстро пустели. Редкие прохожие, тревожно озираясь по сторонам и стремясь держаться подальше от заборов, торопились по домам. Порою доносились издалека пьяная песня, грязная ругань. Возница Александра Даниловича неистово стегал лошадей. Седок одной рукой крепко сжимал черенок сабли, а другой держал наизготове топор. В Москве так ездили все, кому была дорога жизнь. По ночам на всех углах подстерегала напасть. Москва разбивалась на два лагеря – нападавших и оборонявшихся. Повсюду шныряли разбойные. Голод делал их отчаянными и бесстрашными.

У самой слободы Меншиков легонько ткнул возницу в спину и на ходу легко выпрыгнул из саней.

Перед ним раскинулась ровная, как линейка, улица, освещенная ложившимся от окон мягким голубоватым светом. Слух уютно, по-домашнему ласкали колотушки ночных сторожей.

Не успел Александр Данилович сделать и двух шагов, как перед ним выросли занесенные снегом фигуры. Меншиков замахнулся было топором, но, уловив немецкий говор, тут же успокоился.

Признали его и сторожа.

– О, пожалюста, дорогой гость. Мы ошен вас просим, – приветствовали они его и почтительно расступились.

Топор полетел в сани. Возница переложил его к себе под сиденье и пустил коней шагом.

Монс уже собиралась спать.

– Если не государь – не пускать! – крикливо распорядилась она, услышав стук в дверь, и на всякий случай, взяв с комода флакон, надушила подмышки и грудь.

В сенях зашумели. Кто-то крепко выругался. Анна Ивановна прислушалась, и ее маленький ротик скривила злоба. Она узнала Меншикова по голосу.

– О, какой дур! – произнесла она с нарочитым гневом по-русски. – Не слюшай ее, она всегда путайт. Такой глюпый дур.

Поздний приход непрошеного гостя заставил ее насторожиться. Меншиков это сразу заметил по слишком уж подчеркнутой готовности хозяйки провести с ним «за бокаль ви-

на хоть цели нош».

Разговор, однако, долго не клеился. Немка была уверена, что гость заговорит о Петре, но Меншикоз, к удивлению ее, даже не заикался о государе.

Допив вторую бутылку подогретого красного вина, он поглядел на этикетку и приятно осклабился:

– Добрая марка! Прусская.

– О, ви заграниц научился наш язык? – удивленно сдвинула она подбритые золотистые брови.

– Куда уж нам! – смущенно отмахнулся Александр Данилович. (Он терпеть не мог, когда с ним говорили о грамоте, которая никак, несмотря на все его старания, не давалась ему.) – А только видывал я таковские бутылочки у посла прусского Кейзерлинга…

– У Кейзерлинг? – стараясь придать своему голосу целомудреннейшую невинность, переспросила Анна Ивановна.

Но от Меншикова не ускользнуло мимолетное беспокойство, отразившееся на лице немки. Он изысканно поклонился:

– У него… Отменная марка! Дозвольте еще единую опрокинуть.

– Я ошен прошю. На здоров.

Подняв налитый бокал, гость прищелкнул языком и вдруг рассмеялся:

– Был я, Анна Ивановна, у него давеча. И забавник же он! Так распотешил – любо-дорого! Виршу читал мне, да по-

нашенски. Со смеху чуть не разорвало меня.

Александр Данилович отхлебнул из бокала и, кривляясь, прочитал:

Ви, старюшка мой любезни!
Ви не может понимайт,
Как приятно и польезно
Рюмка водки выпивайт.

– Ха-ха-ха! – захлебнулся он смехом. – Вот так уважил!

Все тело его содрогалось. Не смеялись только глаза. Они стали как будто глубже, темней, взгляд их пронизывал насквозь.

Анне Ивановне сразу стало ясно, зачем пришел к ней царев любимец. «Узнали! – помертвела она. – Все кончено. Он мне погибель принес».

– Узнали, голубушка, – точно прочитав ее мысли, подтвердил Меншиков. – Не обессудь, проведали добрые люди, как ты царя на посла променяла.

Бокал будто нечаянно вывалился из рук Меншикова и, стукнувшись о край стола, разбился; темным кровавым пятном расползлось по скатерти пролитое вино. Подвинувшись вместе со стулом вплотную к хозяйке, Александр Данилович спокойно, точно разговор шел о настоящем пустяке, продолжал:

– Человек я русский, нехитрый, лукавства не ведаю и зла ни на кого не держу. Весь я тут.

– Чего ви желайт? – едва дыша, поднялась Монс.

– Присоветовать вам желаю осторожнее в аморы играть. Ишь, ведь даже жалость берет, на чем поскользнулась. На ровнехоньком месте… Кого сей вирше государь обучил? Не тебя ли одну? А откель посол ее знает, коли, опричь государя да тебя, никому не может быть она ведома?

– Не я обучиль! – крикнула Монс. – Непрафда, не я!

– Ну, не ты так не ты… Мне-то что. А только хитер твой посол, да не очень. Он секретарю похвалялся, а секретарь медрессе[5] своей. А медресса второму полюбовнику своему, а полюбовник куме. Так и пошло.

«Что делать? Боже мой, что делать? – мысленно призывала Анна Ивановна Бога на помощь. – Все кончено, все…»

Александр Данилович заторопился:

– Разболтался я… Прощайте, Анна Ивановна.

– Затем ви пришель? Убить или помогайт? – вдруг спросила немка.

– Как прикажете, Анна Ивановна.

– Не надо шютка. Ви не может шютить, когда человек имейт большой несчастье. Я хочу, чтоб ви мольчаль… чтоб царь не знайт ничего. Ви будут мольчайт?

Александр Данилович высоко, в деланом изумлении, поднял плечи:

– Я? Да за кого вы меня принимаете? Да нешто я младенчик? Нешто дела не разумею? Хоть режь меня на куски, а я

---

[5] *Медресса* (метресса) – госпожа, любовница, возлюбленная.

государю… – он проглотил слюну и сладко зажмурился, – я государю все расскажу. Как перед Богом!

Он вдоволь налюбовался отчаянием немки и прибавил:

– Едина дорога тебе очиститься перед государем моим – идти с послом под венец.

– Но ми с Кейзерлинг только это ждем, – встрепенулась Анна Ивановна. – Ми давно думайт, абер мы не знайт, как сказать это царь. Ми ошен боится.

Она опустилась на колени и, прижавшись щекой к сапогу гостя, позабыв гордость и честь, униженно заплакала:

– Помогайт нам! У менья много золот, брильянт. Я все отдам!

Расстались они задушевнейшими друзьями.

Всю дорогу, пока неслись сани к хоромам князя-кесаря, с лица Меншикова не сходила самодовольная улыбка. Жалел он лишь о том, что отказался принять задаток – бриллиантовое колье, которое со слезами навязывала ему немка. «Какого черта я вдруг ангела-бессребреника изобразил! – корил он себя. – От этакого добра, дурак, отказался». Но тут же он утешался тем, что всякому овощу свое время и что его от него не уйдет.

У ворот усадьбы князя-кесаря Меншиков выпрыгнул из саней и побрел пешком через заваленный отбросами двор к хоромам. «Обряд вхождения в покои кесарского величества» придумал сам Петр и всех «нарушавших чин» жестоко

карал. Ромодановский, может быть, и понимал, что государь подшучивает над ним, но виду не показывал и даже кичился «особливым» своим положением.

Поминутно оступаясь и проваливаясь в сугробы, Меншиков ощупью добрался к занесенному снегом крыльцу.

Едва переступил он порог, как на него, поднявшись на задние лапы, с зловещим рычанием полез огромный медведь. В то же мгновение захлопнулась дверь, ведущая во двор, а вход в хоромы загородили гости и челядь.

– Потеха-то… плоха ли? – выплыв из трапезной, чванно проговорил хозяин.

Зверь наступал. Меншиков под дружный хохот гостей присел на корточки, готовый проскользнуть между лапами медведя. Подоспевший государь приказал ему встать. Александр Данилович вздумал молить о пощаде, но увесистый пинок сапогом заставил его подчиниться.

– Ну-ко, витязь, со Господом гряди навстречу Михайле Иванычу!

Зажмурившись, Александр Данилович шагнул вперед и снова остолбенел – уже не от ужаса, а от удивления: медведь пригнулся, взял в обе лапы золоченый кубок, на стенках которого распластался двуглавый орел, и, зачерпнув из бочки перцовки, с поклоном подал гостю.

– Чтоб не кичился паренек. Чтоб ко времени к кесарю жаловал, – приговаривал хмельной Федор Юрьевич, расставив широко ноги и стараясь удержать равновесие.

Опорожнив кубок, Меншиков под веселые шуточки протискался в трапезную.

Прерванный пир продолжался. Пили все, но больше всех накачивал себя смесью наливок, пива, меда и вин Ромодановский.

Под утро хозяин и гости, свалившись в общую кучу, храпели под столом на полу. Только Петр, обняв захмелевшую Марту и не вязавшего лыка Меншикова, тяжело шагал через двор на улицу к поджидавшим его саням.

Бессонная хмельная ночь мало отразилась на государе. Разве чуть строже стало лицо да мешочки под глазами набрякли больше обыкновенного. До полудня царь выслушивал доклады, приводил в порядок дела, совещался с «птенцами», а к обеду собрал у себя всех ближних. Не хотелось ему только принимать английского посла.

– На кой ляд он мне сдался! – сердился Петр. – Да и что брехню слушать. Будто неведомо нам, что никакой торговый договор их не насытит, что они, проклятые, весь век зубы точат на Архангельский край!

Однако, «чтоб не осерчал лукавец», государь послал и за ним.

В трапезную чистенькая, надушенная и прилизанная, с дымящейся миской щей в руках, вошла Скавронская.

Шафиров вскочил, готовый принять миску, но Марта отстранила его:

– Все вы да вы! И отечеству служите, и царю. Дайте мне

хоть одному царю послужить.

Польщенный Петр приветливо усадил хозяйку подле себя.

– Побудь ты со мной. Чать, не на день расстаемся.

Во все время обеда царь и гости смеялись, рассказывали анекдоты, перекидывались шутками. Английский посол напрягал все свое умение, чтобы перевести беседу в нужное ему русло. Но сидевшие за столом словно вдруг отупели – на серьезные вопросы либо не отвечали совсем, либо несли такую ересь, что у иноземца от бессильной злобы багровел затылок. Он ни на каплю не верил в «простоту подвыпивших азиатов». «Свиньи! – ругался он про себя. – Нарочно прикидываются пьяными дураками».

Петр то и дело подносил гостю кубок, восхваляя английского короля. Особенно восхищался он британским флотом.

– Сих артей я ваш ученик. Во всей Европе не видывал я флота, аглицкому подобного.

Посол холодно, с достоинством улыбался и, пользуясь удобной минутой, снова принимался через толмача за свое:

– Строевой лес, если основать торговую компанию у Белого моря…

– Отменное море! – перебивали его царевы ближние. – Гораздо любо оно монахам нашим. Вот были такие Зосима с Савватием…

«Тьфу! – делая вид, что любезно слушает, перегорал от возмущения посол. – Свиньи! Азиаты!» И вслух говорил:

– Зосима? Очень, очень интересно! Зо-си-ма.

Потеряв надежду добиться хоть какого-нибудь толка, взбешенный, но внешне спокойный англичанин убрался восвояси.

Дома, едва переодевшись, он принялся строчить донесение своему королю.

«Здешний двор, – зло скрипел он пером, – совсем превратился в купеческий: не довольствуясь монополией на лучшие товары собственной страны, например смолу, поташ, ревень, клей и прочее, которые покупаются по низкой цене и перепродаются с большим барышом нам и голландцам, так как никому торговать ими, кроме казны, не позволяется, они захватывают теперь иностранные торговли; все, что нужно, покупают за границей через частных купцов, которым платят только за комиссию, а барыш принадлежит казне… Я сегодня пытался говорить о строевом лесе, но они и слушать не хотят. Уж не собирается ли царь отдать леса в аренду какому-нибудь Меншикову или Шафирову, как он сделал уже с тюленьими промыслами? Русский царь очень заботится, чтобы его вельможи занимались торговлей и фабриками…»

Кто-то осторожно постучался в дверь. Посол сунул донесение в папку.

– Ах, это вы! – оживленно поднялся он навстречу своему секретарю. – Есть новости?

– Есть, сэр. Плохие новости, сэр. Мазепа боится, что его не поддержит плебс. Вольница не доверяет Мазепе. Они говорят, что боятся попасть из москальской кабалы в рабство к

Карлу Двенадцатому[6] и полякам. Очень плохие новости, сэр.

– Так я и знал! – вскипел посол. – Этот азиатский народ сам не знает, чего хочет. Вам придется ехать.

Дипломат приказал заложить сани и через несколько минут уже мчался куда-то в сторону Немецкой слободы.

[6] *Карл XII* (1682–1718) – сын Карла XI и Ульрики Элеоноры Датской, шведский король с 1697 г. После поражения под Полтавой бежал в Турцию, которую покинул лишь в 1714 г. Возвратившись в Швецию, продолжал боевые действия против коалиции и погиб при осаде норвежской крепости Фредрикстен.

Глава 4
Верит – не верит?

– Годи! – размахнулся Яценко и пребольно ударил себя кулаком по лбу. – Годи, кобыла ледаща! Годи, морда паскудная! Басурман! Так тебе! На! Держи!

Бог ведает, сколько бы еще наслаждался казак самоистязанием, если бы не ощутил вдруг приступа мучительной жажды.

Он огляделся по сторонам. Пустота. Перед ним стог сена, дальше, за лугом, – провал, словно конец земли, а в полусумраке торчит из провала колокольня. Сквозь легкий туман Яценке показалось, что висит она в воздухе и мерно, чуть-чуть покачивается. От этого ему стало и чудно и страшно немного.

«Хоть бы собака забрехала или коняка какая затопала», – вздохнул он грустно и приткнулся к стогу.

Его начинала одолевать дрема. Перед глазами вставала родная Диканька, его одинокая, бобыльская хатка, запущенный вишневый сад, всегда голодный беззубый Серко, заезженный любимый Буланый… И только припомнилась лошадь, как сразу развеялся сон, стало легко, почти радостно. Он залихватски тряхнул оселедцем, перекрестился и, опустившись на четвереньки, пополз.

Вскоре показались баштаны, плетни, а за ними – уютные

беленые хаты.

– Как грибочечки стоять! – умилился Яценко и снова перекрестился.

Казак всегда любил свою Украину, но особенно дорога она казалась ему после долгих отлучек. Яценке нипочем были ни смерть, ни голод, ни черт. «Байдуже мне рахуба[7] такая!» – искренне хохотал он. И ему все верили, зная его бесшабашную удаль. Боялся он одного: попасть в плен и расстаться с родиной. Три года, проведенные им когда-то давно заложником у крымского хана, извели его так, что он вернулся домой живым мертвецом. Тоска по «казацкому товариществу» иссушила его. А очутился в Диканьке – и все зажило в какой-нибудь месяц. И запил же он тогда на радостях! До сих пор еще вспоминают казаки те разудалые дни. Земля дыбом стояла, река вспять потекла, небо вертелось, как дзыга[8]. Есть о чем вспомнить!

И теперь, попав на рубеж родимой земли, он снова воскрес. Дудки! Москва далеко позади. Возьми-ка Яценку. Да ты его днем с огнем не найдешь, ежели он у себя на Украине! Попробуй найди его, когда тут что ни хата, то убежище от врагов.

– Коняку бы только, – вслух подумал казак, продолжая ползти к краю оврага.

Вскоре перед ним открылось сельцо. Он деловито оглядел

---

[7] *Рахуба* – огорчение.

[8] *Дзыга* – род волчка.

хаты.

– Небогато живут… Хвороба тут, а не пожива.

Мгла быстро сгущалась. В сумерках все дворы были похожи один на другой. Однако это была только видимость. Казак сразу нюхом угадал, кто как живет.

В полночь он подполз к облюбованной усадебке. Пес, зачуявший его, высунул морду из будки, но Яценко одним ударом размозжил ему дубинкой череп. «А не лезь!» – шепнул он, словно оправдываясь, и направился к коновязи.

Под утро он был далеко. Украденный жеребец, пугаясь разбойного посвиста и улюлюканья, мчал его бешеным карьером.

Десятка за три верст от Диканьки казак променял коня на свитку и сапоги и отправился к Кочубею. По дороге встречались знакомые, расспрашивали, где он был, почему пропадал; гонец болтал все, что приходило в голову, но ни слова не сказал правды.

– К ляцкой королеве ездил. Дюже она просила себе мужа-казака.

– И взяли тебя в короли? – хохотали дивчата и парубки.

– Так я вам и казав. Брысь, голодранцы!

Так, с шуточками и песнями, он проходил через хутора и деревни, пока не очутился в Диканьке.

Поравнявшись с хатой вдовы Параськи, он заприметил в окне хозяйку, лихо подмигнул ей и тут же, посреди дороги, пустился в пляс.

Собралась толпа.

– Ай да гайдамак! Ну и казаче! – ревели восторженно люди. – Да откуда ты взялся, душа пропащая?

– З Варшавы! У ляцкой королевы галушки куштувал.

Его наперебой приглашали в гости, но он отказывался:

– Сорок дней и сорок ночей ходил. Треба и отдохнуть.

Чем ближе подходил он к усадьбе Кочубея, тем сильней охватывала его какая-то смутная тревога. «Верит царь или не верит? – снова проснулась позабытая было мысль. – А что, ежели не верит?» Обидно было думать, что царь, чего доброго, считает его продажным человеком, которого можно купить для любого дела. А разве Яценко такой? Разве из-за корысти отправился он к Петру с челобитной? Не потому ли спешил он в Москву, что искренне, всеми помыслами желал добра своей родине?

Генеральный судья увидел Яценку из окна и до того всполошился, что, позабыв осторожность, бросился к нему навстречу.

– Гонец вернулся! – крикнул он жене. – Да гонец же приехал, Любовь Федоровна!

Она догнала мужа в сенях, больно ущипнула его за плечо:

– Я вот дам тебе гонца!

В соседней горнице послышались тяжелые шаги, и в дверях показалась лысая голова полковника Искры.

– Яценко?

– Он.

Ловким, видимо привычным, толчком загнав судью в горницу, Любовь Федоровна неторопливо выплыла на крыльцо.

Яценко стоял посреди улицы и, широко разводя руками, что-то бормотал. Со стороны его можно было принять за пьяного – так нетвердо держался он на косолапых ногах.

– Верит или не верит? – уже вслух вопрошал он пространство. – Верит – не верит?

Тут он увидел наконец Любовь Федоровну, знаками подзывавшую его, и, кручинно вздохнув, направился вслед за ней.

В хоромах он уселся между Кочубеем и полковником и слово в слово передал свою беседу с царем.

– Так, так, – непрестанно кивала Любовь Федоровна, устроившаяся против казака, чтобы лучше было следить за выражением его лица. – Я ж так и думала! Я ж говорила, что не надо в Москву посылать.

Искра заерзал на стуле:

– Как же не говорили? Вы одни и добивались. То мы с Васылем говорили, чтоб не посылать.

Круглое лицо судьихи вытянулось от злобы. Слово за слово поднялся такой визг, что Яценко, опасаясь за целость своего чуба, шмыгнул под стол, а Искра самоотверженно заслонил своим жирным телом судью. Но Любовь Федоровна ловким ударом оттолкнула его и впилась зубами в плечо мужа. Тот завопил таким отчаянным голосом, что даже таившаяся за дверью Матрена не выдержала, вбежала в горницу:

– Мамонько, мамо! Что ты, мамонько!

Появление дочери еще больше взъярило старуху. Загремели столы, стулья, покатилась во все углы посуда из опрокинутой горки.

– А и гетьманьска девка тут! Тоже за батьку! – взвизгнула старуха и обеими руками сгребла дочь.

Учуявший свободу Кочубей кубарем выкатился в сени и скрылся в чулане под ворохом мучных мешков.

– Где он? – не выпуская из рук дочерней косы, неистовствовала Любовь Федоровна. – Где он? Дайте мне его сюда! Матрену на погибель с Мазепой спаровал, теперь и нас на погибель гонишь?!

– Врешь! – орал в ответ Кочубей, не вылезая, впрочем, из чулана. – Не греши перед Богом. Не паровал я их!

Наконец, благоразумно придвинувшись к оттоманке, старуха в истерике повалилась на подушки.

Воспользовавшись суматохой, Яценко выбрался из-под стола, стремглав выскочил на улицу и с досады так напился, что едва не умер под забором той самой хаты, из которой уворовал четверть ведра настоянной на тютюне, порохе и чесноке горилки.

Искра суетился подле хозяйки, усердно дул ей в лицо, обмахивал платочком, целовал сморщенную желтую руку и униженно просил:

– Любовь Федоровна, ну краля писаная моя, да очнитесь же!

Принесенный сенной девушкой ковш холодной воды стоял нетронутым. Искра знал, что стоит ему только притронуться к нему, как немедленно в его голову полетит все, что подвернется судьихе под руку.

– Вы присядьте, краля! – молил он. – Это же вредно так убиваться. Могут морщинки пойти на лице.

После долгих уговоров судьиха расслабленно встала и, держась за полковника, подошла к оконцу.

– Вже можно, пан, – освобождая Кочубея из-под мешков, шепнула старушка ключница. – Та не лякайтесь, бо вже тыхо…

Глава 5
Кочубеевна

Матрена, стиснув зубы, лежала в крохотной своей светелке. Все тело ее ныло от побоев, но еще горше были ни на минуту не покидавшие ее мысли об отце.

Она не пропустила ни слова из того, что рассказывал даведа Яценко, и нисколько не удивилась его рассказу.

Еще пять дней тому назад в доме у Мазепы она случайно, сама не желая того, подслушала несколько слов из письма, которое гетман читал какому-то незнакомому ей человеку. Письмо это так поразило ее, что она в первую минуту как бы потеряла рассудок. Она поняла, какая смертельная опасность грозит отцу, и виновной в этом признала себя. «То за мой грех карает Господь! До седьмого колена мстит Бог за прелюбодеяние».

Мазепа нашел ее лежащей в беспамятстве перед киотом, привел в чувство и долго выпытывал причину горя. На все его вопросы Матрена отвечала одно:

– Таточку видеть хочу… Стосковалась я по таточке своему…

Мазепа немедля снарядил ее в путь.

Девушка знала, что у родителей ее ждут побои, позор и непрестанные, более невыносимые, чем самые лютые пытки, издевательства матери. Но и это ей было не страшно. Пусть

хоть голою выгонит на улицу мать, пусть осрамит перед всем народом, – это будет лишь ничтожная кара за страшное преступление, которое, по ее представлениям, совершила она против родителей. Она решила обо всем рассказать отцу и, больше не возвращаясь к Мазепе, уйти в монастырь.

– Тату! – бросилась она на колени перед Кочубеем, едва переступив родной порог. – Слушай, таточку…

Но в горницу с грохотом, треском и шумом ворвалась Любовь Федоровна:

– Вон! Вон, гетьманьска юбка!

Василий Леонтьевич, всем сердцем жалевший дочь, готовый простить ей все, жалко захныкал:

– С кем, Любовь Федоровна, грех да беда не случается. Молодость, она…

Этого было достаточно, чтобы старуха окончательно взбесилась. Звонким подзатыльником она заставила замолчать Василия Леонтьевича и остервенело накинулась на дочь.

Всю ночь пролежала Матрена в каком-то странном полузабытьи. Утром, когда сквозь щели в ставнях просочились первые солнечные лучи, она с удивлением открыла глаза. Спала она или не спала? Она не смогла бы ответить на этот вопрос. Но за ночь что-то изменилось в ней. Непоколебимое решение, созревшее на пути от гетмана в Диканьку, потускнело. В тысячный раз повторяла она подслушанные слова из полученной гетманом цидулы, стараясь вызвать в себе

то чувство ужаса, которое еще так недавно навевали они. Но тщетно. Ужаса больше не было. Стало легко и тихо. Ровными ударами билось сердце. Над головой уютно жужжала зазимовавшая муха. «Все будет хорошо, – отчетливо слышала Матрена чей-то баюкающий, мягкий голос. – Ничего страшного не случилось. Не ты первая, не ты последняя…»

– Все будет хорошо, – прошептала девушка, блаженно улыбаясь. – А тат… – и не договорила, вскочив с постели, в отчаянье заломила руки. – Боже мой! Тату! – вскрикнула она и повалилась на пол.

Все перед ней закружилось, спуталось. В светелке стало тихо, как в диканьской часовенке на погосте, где на ночь оставляют умерших. Матрене и представилась деревянная часовенка с покривившимися гнилыми ступеньками, с выщербленными глазами на ветхом лике Всех Скорбящих Радости. Слепая Богородица в упор уставилась на нее. «Чудно, – прошептала Матрена. – Слепая, а видит». Икона сорвалась со стены и с грохотом стукнулась об пол. Девушка на коленях поползла собирать осколки. «Это глаз», – поняла она, чувствуя желчную горечь во рту. Она притронулась к осколку и отдернула руку. Вместо разбитой иконы копошилась в полумраке груда белых могильных червей. «То тату. То не противно. Тату же. Казнили его…» Она говорила просто, безразлично, как о чем-то постороннем, а в ушах все нарастал и нарастал однообразный, томительный перезвон.

Матрена почувствовала озноб. Она в одной сорочке сиде-

ла на холодном полу. Щеки ее горели, на лбу проступил пот. «Ото ж тебе, – горестно проговорила она, забывая об отце и обо всем на свете, – неначе хворь привязалась ни к селу ни к городу… Хворь… хворь привязалась… хворост привязать. Ах да! Хворост… в село нести… связать хворь…»

Через несколько дней она, открыв глаза, увидела себя в большой светлой горнице, на пышных пуховиках.

– Лежи, лежи, коханочка моя, – рыдала от счастья Любовь Федоровна и без конца крестила дочь. – Слава богу, теперь будешь здоровенька… Слава богу, кровь наша ласковая.

Матрена с трудом подняла прозрачную руку, положила ее на плечо матери:

– Как легко, мамо… Ой, как легко…

Вернувшись откуда-то, Василий Леонтьевич застал дочь в крепких материнских объятиях. Не смея ни шевельнуться, ни вздохнуть, он заморгал и мысленно осенил себя троекратным крестом.

– Васыль! – тихо окликнула его жена. – Иди ж сюда.

Кочубей, счастливо улыбаясь, быстро засеменил к кровати.

– Кочубеевна… агу, агу, Матрена Васильевна! Гуль-гуль-гуль, младенчик мой, Кочубеевна.

Потрескивало масло в лампадке перед образами, шуршали тараканы в углах, где-то, должно быть в рукомойнике, как маятник, точно и строго стучались о жесть капли воды.

– Спит, – еле слышно в один голос шепнули старики и

осторожно встали.

Когда они вышли, Кочубеевна с облегчением вздохнула. Ее глубоко тронула ласка родителей. Но было в этой ласке что-то непереносимое. Вновь пробудились забытые было мысли. За что она принесла этим милым старикам столько страдания? За что опозорила она их седые головы? О, как злы люди! Пусть Матрена сотворит великое благо, пусть она трижды спасет Украину, пусть она уйдет в пустыню и станет святой, – все равно насмешливые шепоты не умолкнут, все равно исподволь будут указывать пальцами на стариков Кочубеев: «Дочка-то ихняя… гетьманьской девкой была… Хе-хе…»

«Что делать? Господи, помоги! – томилась Матрена. – Или руки на себя наложить? Так ведь и то грех непрощенный. Господи, спаси и помилуй!»

С каждым днем безмолвное родительское прощение все больше тяготило ее, порождало жгучий неизбывный стыд.

«Так вот я какая! – с ненавистью впивалась она ногтями в свое тело. – Не хочу рассказать, что у Мазепы подслушала, потому и сержусь, что вместо кнута лаской меня дарят. Ежели б кнут – со зла бы молчала. А теперь чего молчу?»

Наступил час, когда Матрена приняла твердое решение рассказать родителям все – и о цидуле, и о страшных словах государя: «Верю тебе, Иван Степанович, и на полную твою волю не нынче завтра отдам Кочубея». Но и тут, в самую последнюю минуту, ее осенила новая мысль: «А что, если пого-

ворить с самим гетманом? Не такой человек Иван Степанович, чтобы заключить в тюрьму и казнить старого своего друга! Надо только, чтобы покаялся тату перед гетманом. Мазепа простит донос, они помирятся, и… да, да, как Бог свят, верно: Матрена Васильевна Кочубей станет законной женой Мазепы. Гетманшей станет. Первой панною Украины».

Мысли эти до того захватили ее, что она тут же собралась и потихоньку убежала из дому.

Мазепа не ждал гостьи. Когда она вошла и, потупясь, остановилась у порога, брови гетмана приподнялись, резче обозначились бугры на висках, седые подстриженные усы недовольно зашевелились. Но он сразу же овладел собой и, изобразив на скуластом лице приятнейшую улыбку (не зря же жил он когда-то при дворе польского короля!), распростер для объятий могучие руки:

– Звездочка! Панночка моя золотесенькая!

Они поцеловались и, словно не зная, что делать дальше, растерянно оглядели друг друга.

– Вы сердитесь, Иван Степанович?

– На кого? Что ты, звездочка!.. – удивился гетман. – А… впрочем, сержусь. Думаешь, мне и байдуже, что ты вдруг крылышками затрепыхала и улетела от дида старенького?

Нарочитая развязность Мазепы подсказала девушке, что ее возвращению не очень-то обрадовались.

– Я мимоездом, – сдерживая обиду, сказала она. – По делу… Если можете меня выслушать, я сейчас начну.

– К чему сердце портить, панночка? Не надо волноваться. Нехорошо.

Он прижал ее к себе и, не выпуская из объятий, увел в парадные покой.

– Так по делу, говоришь?

– Иван Степанович, – с мольбой взглянула на него Кочубеевна. – Скажите, Иван Степанович, по чистой совести…

Мазепа почтительно прижал к сердцу обе руки:

– Твои соловьиные песни… Да, твои песни, говорю, соловьиные я готов слушать и из могилы.

– По всей совести, Иван Степанович, скажите… Как перед Богом прошу! Ведомо вам про челобитную на вас?

– Мне неведомо, так всей Украине ведомо, – горько усмехнулся гетман.

– Что же вы делать будете, Иван Степанович?

– А что бы ты на моем месте сделала, звездочка? Ты на моем месте что сделала бы?

– Я женщина, мой ум короткий. Я за тем и приехала, чтобы вы меня научили.

Гетман покривился и хрустнул пальцами.

– За что? Боже, за что? Не за то ли, что я друг его верный? Не за то ли, что я хочу его тестем своим назвать?

От последних слов веяло таким теплом, что лед в сердце Матрены растаял.

Гетман торжествовал. «С годок бы еще не выпускать тебя из рук, ласточка моя, – ухмылялся он про себя. – Только бы за тобой, ширмочкой шелковой, спокойненько до дела дойти, от москалей Украину освободить».

– Коханочка… звездочка, – говорил он вслух. – Целуй. Целуй меня, старого…

Намиловавшись с гетманом, Кочубеевна в тот же день отправилась домой. Правда, никакого решительного ответа Мазепа ей не дал и ничего не сулил. Но он так был с ней нежен и с таким наслаждением вслух мечтал о часе, когда поведет ее под венец, что она невольно укрепилась в надеждах на будущее и чувствовала себя очистившейся от всяких грехов.

Любовь Федоровна знала, куда ездила Матрена. Едва беглянка выбралась на сотниковой лошади за околицу, как ей вдогон был отправлен Яценко. И хотя перехватить девушку казаку не удалось, он точно рассказал, в какой светлице сидела она с Мазепой, как миловались: все выложили ему друзья из гетманской челяди.

– А конь? – выслушав казака, спохватилась старуха. – Я же тебе лучшую лошадь дала!

– Конь? – переспросил Яценко и вперил свой невинный взгляд в потолок. – Какой конь, панна судьиха?

Старуха размахнулась сплеча.

– Ой! – вскрикнул казак, пригибаясь к земле. – Чи не ваша

тут пуговица валяется?

Любовь Федоровна не задела и волоса Яценки.

– Тьфу ты! Да то и не пуговица, – рассмеялся он, ловким прыжком отскочив подальше от Любови Федоровны. – То чистые слюни, хай им хвороба!

– Конь где?! – завопила судьиха, – Харцыз![9] Скажи, куда сховал лошадь?!

Тут пришел черед рассердиться казаку:

– Я? Харцыз? Та я ж… Та краше на шибиницу[10] идти, чем слухать такое! Та я ж загнал его, сиротину. Все бачили. Скакал, скакал, а он так и повалился, несчастный.

В тот же день в гетманской карете прикатила в Диканьку Матрена.

– Выгнал? – встретила ее мать.

– Да, выгнал! – не помня себя от этой новой обиды, крикнула девушка. – И тебя с батькой выгонит за донос!

Кочубеевна тут же спохватилась. Но было поздно: перед ней уже стояли потрясенные отец и Искра.

– Так он узнал?

Раз проговорившись, девушка, уже не останавливаясь, выложила все, что знала, и даже то, о чем гетман не обмолвился и намеком.

– Сам Иван Степанович клялся перед иконой: «Заарестую

---

[9] *Харцыз* – вор.

[10] *Шибиница* – виселица.

Василия Леонтьевича и Искру, буду держать их в Батурине под замком, покудова не пойдут на покуту к государю Петру Алексеевичу. Тогда и я им прощение дам». Так и сказал.

– Как на ладони видно его прощение бисово, – исказив в мертвой улыбке лицо, безнадежно махнул рукой полковник. – Горяча будет гетьманьска ласка…

Матрену заперли в чулан и сторожить приставили того же Яценку.

– Эге! – похвалялся он перед ключницей. – Еще тот не родился, что у Яценки щось схарцызит. А найбильш того – живую дивчину. Та не сроду! – И, играя нацепленной ради этого случая турецкой саблей, он важно вышагивал по сумрачным сеням.

Утром Кочубей и Искра выехали налегке, якобы прогуляться по округе, и больше в Диканьку не возвратились.

Через два дня они прибыли в маетность Искры – Коломак… Здесь было около сотни казаков, верных полковнику и готовых честно постоять за него и за генерального судью.

Едва передохнув, Искра приступил к возведению на своей пасеке крепости.

– Нет, тут нам не удержаться, – покачал головой Василий Леонтьевич, осматривая игрушечные строения. – Одной пушкой все снесут.

Искра вынужден был согласиться с Кочубеем. Крепостца действительно казалась скорее каким-то сараем.

Пока они рядили, как быть, к ним прискакал лазутчик:

– Панове! Гетьманьски сердюки идут великим войском на Коломак.

Судья и полковник, не теряя ни минуты, бросились к коням и ускакали в местечко Красный Кут, под защиту ахтырского полковника Федора Осипова.

Слух о побеге Кочубея пронесся по всей Украине и замутил казацкие умы. Только и разговоров было и в нищих хатах, и в панских хоромах что о генеральном судье да о доносе его на Мазепу. Шли ожесточенные споры между сторонниками и врагами Василия Леонтьевича.

Больше всех горячились запорожцы и разбойные ватаги. За измену царю они готовы были низко поклониться гетману. Они и не видели измены в том, что обращенная в вотчину московских бояр Украина отложится от России. Кто же виноват, что русские обманули казаков? Не Москва ли подписала с Богданом Хмельницким договор? Не московский ли царь Алексей Михайлович клялся, что, кроме подмоги военной на случай войны, он ничего иного от Украины не добивается? А на поверку вольных казаков холопами московскими сделали, дома разорили, наслали сюда володеть и править народом москальских сановников… Молодец гетман!

Однако запорожцы и станичники пока что не переходили открыто на сторону Ивана Степановича. Их смущали слухи, будто гетман продал Украину ставленнику Речи Посполитой Станиславу Лещинскому и шведскому королю Карлу XII.

Тут надо было крепко подумать! Долго ли попасть впро-

сак, из огня да в полымя?

А Мазепа тем временем не дремал. Диканьку окружили сердюки и царевы солдаты. Почти все взрослые казаки в маетности Кочубея были переловлены и отправлены в город. Спаслась лишь малая горсть людей: то Яценко, каким-то образом пронюхав о близкой напасти, предупредил своих товарищей и бежал вместе с ними.

Глава 6
Так куда же? Куда?

Князь Дмитрий Михайлович Голицын почти не разлучался с гетманом. Он никак не мог понять, почему Петр строго-настрого приказал следить за каждым шагом Мазепы. «Наветам» Кочубея Голицын не верил и даже смеялся над ними.

– Неужто же, – часто повторял он в кругу близких друзей, – не разумеет государь, что судья зуб точит на Ивана Степановича, за дочку мстя? Взять бы того Кочубея да казнить, чтоб другим неповадно было на добрых людей клеветать.

Сам Мазепа избегал разговоров о Василии Леонтьевиче, а когда при нем поминали (про неблагодарного судью, забывшего о великих гетманских милостях), он только болезненно улыбался: «Что ж, дескать, поделаешь! Когда же это было, чтобы люди за добро добром воздавали? Бог с ним».

Однажды Дмитрий Михайлович встретил Мазепу развеселейшей и победной улыбкой:

– И Кочубей, и Искра, и поп Святайло сами бабочками на огонь летят.

– Да ну?

– Вот те и ну, коли в Смоленск отправились к государю.

– Ну что ж, государь сразу все разберет, – вздохнул гетман

и, как бы желая покончить с неприятным разговором, деловито прибавил – А нам, князь, не до того. Нам и на работу пора.

Он до позднего вечера осматривал с Дмитрием Михайловичем возводимые в окрестностях Киева укрепления. От зоркого гетманского взгляда ничего не ускользало. Он все замечал, придирался к каждой мелочи, распекал лентяев, просматривал отчеты инженеров. Голицын был в восторге от его ума и находчивости.

– Откуда сие в тебе? Словно бы всю жизнь только и строил.

– Служба у меня такая. Гетман должен быть и швец, и жнец, и в дуду игрец.

– И то, – вздохнул князь. – Так и государь наш мыслит.

Сказывались ли годы или уже дело было такое хлопотливое, а только к вечеру устал гетман. И то сказать: легко ли день-деньской носить личину спокойствия, когда в сердце неустанно скребется злое сомнение?

Вернувшись домой, Иван Степанович до самой ночи просидел в глубокой думе. Несколько раз к нему входил сотник Орлик, пытался даже заговорить, но Иван Степанович продолжал отмалчиваться. Оживился он, лишь когда пришел племянник его, Войнаровский.

– Вы чего? Или шкода какая?

– Шкода! – зло крякнул гетман. – Скаженный Кочубей к Смоленску пошел, до государя…

– Какая ж тут шкода?

Иван Степанович с нескрываемым презрением посмотрел на племянника:

– И когда ты поумнеешь немного? Как ты не можешь понять, что если Кочубей все самолично перескажет царю, то Петр ему и поверить может. Да. Смекаешь?

– Теперь смекаю.

– А так, то вот тебе работа: голову разбей, а не допусти Кочубея до государя. Никак не допусти.

– Трудновато…

– Если голове трудновато, на конях смекалку вези. Ну, ступай. Но чтоб было, как я говорю. Ступай.

Утром Мазепу вызвали к Дмитрию Михайловичу.

У подъезда гетмана встретили наказной атаман Чечел и генеральный есаул Фридрих Кенигсек. Сухо ответив на их поклон и стараясь держаться как можно увереннее, гетман направился в княжеские покои.

– Швед наступает, – встретил его хозяин свежей новостью. – По всему видно, идет на Украину. – И виновато обернулся к развалившемуся в кресле человеку: – Прошу прощения, за беспокойством и поздороваться не дал. Канцлер Головкин, – представил он гостя. – Он и весть сию недобрую привез нам.

Приветливо кивнув головой, Головкин нараспев пробасил:

– Да-с, наступают.

С плеч Мазепы свалилась огромная тяжесть. Страхи его оказались напрасными. Голицын пригласил не на горе, а на военный совет.

Наступило длительное молчание. И гетман, и атаман, и есаул так жалко сгорбились, словно их жестоко и незаслуженно наказали. «Кат их ведает, лицедействуют они или воистину нашей тугою кручинятся», – подумал канцлер и взял Ивана Степановича за руку:

– А вы что же воды в рот набрали?

– Я погожу, – скромно ответил Мазепа. – Не всем же зараз.

Только после того как высказались все, он приступил к спокойному изложению своего мнения. Головкин слушал его с нескрываемым восхищением, а Голицын взирал на канцлера самодовольно и чванно, будто все, что говорил гетман, исходило от него самого.

– Хо-хо! – беспрестанно повторял он свое излюбленное восклицание. – Хо-хо! Хлеб! Хлебушек в землю! Отменно надумал.

– Так и содеем, – решил канцлер, когда Иван Степанович кончил.

– А так, то и универсал[11] зараз составим, – расслабленно потянулся гетман и пощупал поясницу. – Старость не радость! Она не в седой голове, как люди балакают, не в седой голове, а во всем теле. Наипаче в пояснице сидит. Да. В пояснице.

---

[11] *Универсал* – гетманский указ.

– Куда там в седой голове! – возмутился Голицын. – У тебя не седая голова, а алмазная.

Как только универсал был готов, во все уголки Украины поскакали гонцы, предлагая населению скрыть в землю хлеб, деньги и иное добро, «дабы чертяке Карлу XII ничего не досталось. Чтоб издох он с поганым войском своим на святой украинской земле».

Казаки выслушивали указ и тотчас же безмолвно расходились по хатам. О чем было спорить? Кому были незнакомы гетманские «просьбы», скрепленные черной московской печатью? Попробуй откажись выполнить такую «просьбу»!

Украину захлестнули торжественные неуемные перезвоны. Священники усердно молились о «покорении под нози всякого врага и супостата» и об «отвращении от пределы российские неприятеля, православия восточного гонителя и ненавистника».

Но в этом Иван Степанович немного перехватил.

– Православия ненавистник? – всполошились станичники и запорожцы. – А к чему же гетьманьски людины балакали, будто Карл в веру встревать не будет и над церковью не насмеется?

Встревожился и атаман Фома Памфильев, прослушавший молебен на пути от Каменки в Киев. Какое-то смутное подозрение овладело им: «Чего-то как бы неладно! Чего-то словно бы не того…»

Фома был еще человек нестарый. Ему до сорока недоста-

вало трех годов, а голова уже давно поубралась серебром, лицо покрыла густая сетка морщин. Только по глазам и можно было еще признать беглого стрельца, прославленного многими лихими подвигами в битвах с боярами и купчинами. Глаза у Памфильева синие, как в лунную ночь снежная степь, и живет в них всегда задорная, бесстрашная молодость.

Памфильев пробирался на тайный сход к Ивану Степановичу.

Очень нелегкое дело поручили ему товарищи! Атаман не боялся царевых языков. На своем веку он немало видывал всяких видов. Ему хорошо были знакомы застенки, сырые острожные подвалы и даже жизнь подъяремного человека на соляных варницах Соловецкого монастыря. Страшило его другое: как ни напрягал он свой мозг, а не мог понять, правильно ли он сделал, что связался с Мазепой.

На первый взгляд союз этот был как будто выгоден станичникам. Мазепа сулил им полную волю и обещал идти воевать у бояр Москву. Чего, кажется, лучше? А если пораскинуть умом, то все это не так уж выходило просто. Ну, сдержит он слово, даст свое войско ватагам. И провиант, и пушки, и коней, все даст. А потом что? Неужто же, одолев бояр, гетман придет на казацкий круг и со всем казачеством станет равным? Не похоже что-то на правду… На словах гетман ох как горазд, а на деле – сам боярин. Пан и панскую руку тянет.

– Да, – вполголоса рассуждал Фома, медленно подвигаясь по лесным неисхоженным тропам. – Начальным людям, да

войсковой старшине, да полковникам – тем есть чего дожидаться от Ивана Степановича. У них и сейчас уже столько земли завелось, что иной московский вотчинник облизнется…

– Подайте на построение косушки, як москали балакают, добрые громодзяне! – прервал эти рассуждения чей-то неожиданный возглас.

Памфильев вздрогнул и выхватил из-за пазухи кинжал. Перед ним, сняв изодранную в клочья баранью шапку, стоял косолапый верзила. На его широком лице, как вишня, алел небольшой носик, горячие, будто угли, глаза с пренебрежением глядели на кинжал.

– Не трудись, кум, резать, – проговорил он с усмешкой. – Не бачишь, что я тутошний громодзянин и пан? Я да вивк[12], оба мы тут паны.

– Лицедей ты или таковским прикидываешься? – отступил от него Фома.

– Мне и Параська говорит, что прикидываюсь…

– Да ты куды путь держишь, веселый ты человек?

– Ясно куды! К запорожцам.

– А откудова?

– Бачь, який шустрый! Куда ты, оттуда я. В самый раз.

Щербатый месяц занесло темными тучами, и в лесу сразу стало темно. Деревья, казалось, сошлись вплотную и притихли сплошной черной громадой.

---

[12] *Вивк* – волк (*укр.*).

– Поздно. Не сбиться бы, – нерешительно огляделся Фома и опустился наземь, натруженно протянув гудящие от долгой ходьбы ноги.

Вслед за ним, повторяя все его движения, устроился на траве и верзила.

Над головами их едва слышно зашумели вершины деревьев. Ветер налетел и стих. Холодная тяжелая капля упала на руку Фомы.

– Дождь, – поежился он.

– А ты его горилкой суши. Чи нима?

– Есть.

– Та не брешешь? – обалдел от счастья верзила.

Выпив залпом кружку горилки, он поблагодарил за угощение и доверчиво обнял Фому:

– Теперь бачу, что ты свой чоловик. Так я кажу?

– Вроде так.

Памфильев умело, стараясь не спугнуть случайного товарища, принялся выпытывать у него, как отзываются о Мазепе убогие люди.

– А ты сам за кого? – строго спросил косолапый.

– Я ни за кого. Я за правду. А там все едино – хоть Мазепа, хоть Кочубей.

– Э нет, – не больно стукнул верзила кулаком по колену Фомы. – Це не так! Мазепа изменник, а Кочубей – верой и правдой…

Слишком уж много знал человек этот про судью и про гет-

мана! С виду – бродяжка, а говорит такое, что не всякому близкому к генеральному судье дворянину дано знать. «Уж не „язык" ли? – нахмурился атаман. – Бес его ведает, откудова взялся он».

– Спишь? – окликнул он его после недолгого молчания.

В ответ раздалось безмятежное похрапывание.

«Прикидывается», – зло поджал губы Фома. Подозрение переходило в уверенность. Он привстал и осторожно нащупал кинжал.

– Ха-ха-ха-ха! – расхохотался вдруг верзила. – Зачем кынджал? – Он откинулся за дерево и сам выхватил нож. – За що? А драться по-честному, так выходь!

Бродяжка выпалил эти слова с такой горькой обидой, что у атамана опустились руки.

– Да кто же ты такой будешь?

– Теперечки могу. Во бачу, ще раз мене злякался, «языком» посчитав, значит, свой чоловик… Яценко я! Вот кто.

Заметив, что имя его ничего не говорит Фоме, казак вышел из засады и в коротких словах поведал о себе все без утайки.

Перед расставанием, оставив товарищу горилки, сала и хлеба, Фома крепко пожал ему руку:

– А зря ты в царя поверил! Ты одно понимай: нам, убогим, что царь, что гетман – одна радость.

– Куды же кинуться?

Памфильев смутился:

– Куды? В лес, к ватагам.

– А потим що?

– Москву воевать.

– А потим що?

– Потом… потом… Там видно будет! Что-нибудь объявится на кругу, коли одолеем ворогов наших.

Яценко прислонился к дереву и долго смотрел в ту сторону, куда скрылся атаман.

– Не к царю и не к гетьману, – десятки раз на все лады повторял он. – Так куды же?

С того часа словно изменили казака. Он стал угрюмым, придирчивым, злым. Думка накрепко засела в его голове.

– Царь за бояр, гетьман за панов. Так куды же идти?.. Ну, завоюем Москву. А потим що? Кто нам поможет? Ведь царством править…

Ответа не было.

Глава 7
Кот и мыши

Вечером к Головкину вошел караульный офицер:

– Объявились.

– Кто такие?

– Кочубей с Искрой. А с ними ахтырский полковник Осипов, поп Святайло с сыном, сотник Петр Кованько да писарей двое.

Канцлер самодовольно улыбнулся и хлопнул по плечу недавно прибывшего из Москвы Шафирова:

– Ловко я их улещил? Ай да судья! Попался… Теперь попался!

Чуть свет Головкин и Шафиров отправились к Кочубею. Встреча была такая теплая, что судью прошибла слеза. Канцлер тискал его в объятиях, с братским сочувствием заглядывал в глаза.

– Постарел ты, постарел… Садись! Насупротив меня садись, Василий Леонтьевич.

На столе появились яичница с салом, тягучая, из подвалов Кочубея, сливянка. Наливая, Головкин подмигнул Петру Павловичу. Василий Леонтьевич перехватил этот взгляд, и ему стало не по себе.

– Добрая настоечка, – облизнулся Шафиров. – Даже пить жалко.

– Господи! – заторопился судья. – Пейте на здоровье. Я вам целый бочонок в Москву пришлю. У меня своя ведь, не купленная. Моя Любовь Федоровна большая на это мастерица…

– Будем ждать, Василий Леонтьевич, – ответил Шафиров.

Тон его был вежливым и улыбка – приятная. Но Кочубея снова покоробило. «И чего тянут? – с тоской подумал он. – Чего не спрашивают про дело?»

Петр Павлович словно прочитал его мысли.

– Сливянка сливянкой, – сказал он, – а государственность – государственностью.

– И мне так думается! – обрадовался Василий Леонтьевич.

Он сразу же перешел к челобитной. Канцлер и Петр Павлович почтительно склоняли головы и не перебивали судью ни единым словом. Только Шафиров время от времени грозно хмурился:

– Злодей-то какой! Гнус-то какой!

– Вот оно как, паны мои! – рассказывал Кочубей. – В князья метит гетьман. Так и договорился с Вишневецким и княгиней Дульской[13]: Польше – Украина, а ему княжество Черниговское… Бачили вы князя черниговского – Иуду Степановича?

– Ай-ай-ай! Воистину не Иван, а Иуда Степанович, – ки-

---

[13] Имеются в виду Михаил *Вишневецкий* (1680–1743), князь, гетман литовский, и его первая жена Екатерина *Дульская*.

вал головой Петр Павлович. – Ну и гетман!

– Ей-богу, чистую правду выкладываю! – все больше горячился судья. – Сам он мне похвалялся и на свою руку тянул.

– Да быть не может того! – рявкнул вдруг Головкин. – Да что же сие?!

Кочубей обмер:

– Богом клянусь! Вот вам… Где тут икона? И еще говорил, что король шведский прямо к Москве пойдет ставить другого царя. А на Киев Станислава Лещинского[14] напустит, с генералом шведским Реншельдом[15]. И еще слух ходит, будто государь в Батурин едет, а там…

Оба сановника встали и перекрестились.

– Не смущайтесь, Василий Леонтьевич, – подбодрил Шафиров замявшегося было Кочубея. – Вы как на духу.

– Да будь я не судья, ежели гетьман не отобрал триста девяносто верных ему сердюков и не наказал им убить… госу-

---

[14] *Лещинский* Станислав (1677–1766) – с 1699 г. воевода познаньский, в 1704 г. под нажимом Швеции избран на сейме королем (большинством шляхты не был признан), после поражений Карла XII в 1711 г. бежал за границу. Во Франции сблизился с королевской семьей и выдал дочь за самого Людовика XVIII, чем отчасти объясняется полонофильская направленность дальнейшей французской политики. В 1733 г. с помощью французской дипломатии он вновь занял польский престол, но уже через три года потерял его. Опять эмигрировав во Францию, стал номинально там принцем Лотарингии.

[15] *Реншельд* (Рейншильд) Карл Густав (1651–1722) – шведский граф, генерал. Под Нарвой командовал левым крылом шведских войск. Под Полтавой взят в плен, из которого освобожден в 1718 г.

даря.

– Спаси и помилуй! – воскликнул канцлер.

– Спаси и помилуй! – эхом отозвался Шафиров.

И снова что-то кольнуло в грудь Василия Леонтьевича.

– Я царю, как отцу, как Богу… – забормотал он.

Шафиров добродушно изумился:

– А мы разве инако думаем про вас, пан судья?

Дружески пожав руку Кочубею, они вышли. Василий Леонтьевич хотел проводить их до ворот, но у крыльца ему преградили дорогу два солдата.

– Ты не гневайся, – объяснил Головкин. – То не в бесчестие тебе. Не ровен час, вдруг какой-нибудь наемник гетманский к тебе со злом придет.

– Разве что так! – горько мотнул головой Кочубей и вернулся в хату.

На соседний двор, куда вошли вельможи, тотчас же привели Искру.

– Так по уговору с Лещинским и Вишневецким да еще с княгиней Дульской, – в лоб спросил полковника Шафиров, – умыслил гетман на здоровье царского величества?

Искра задержался с ответом. Рой мыслей закружился у него в голове. Сказать или отречься? Примешивать к делу замысел на царя иль умолчать?

Ехидная улыбка сузила глаза Петра Павловича:

– Может, запамятовали, пан полковник?

– Верно, запамятовал. Клятву дать не могу. – Полковник

опустил плечи и по-стариковски закашлялся. – Я невеликая птичка. Вот Василий Леонтьевич тот больше знает.

– А отец Никанор и казак Яценко на Москве про тебя инако говорили, – рассердился Головкин. – Да и кому неведомо, что ты и умом и духом крепче судьи.

– Я простой человек… Я все через Кочубея узнавал.

Поднявшись и не глядя больше на Искру, вельможи ушли. За ними так же, как до того Кочубей, поплелся уже по-настоящему разбитый и опустошенный полковник. Но и перед ним у крыльца выросли два солдата с фузеями наизготове.

Запершись в горенке, Головкин и Шафиров начали составлять донесение государю.

– А ведь на правду похожа челобитная Кочубея, – совестливо вздохнул канцлер.

– Похожа, очень похожа, – подтвердил Петр Павлович.

– Как же быть? Неладно что-то выходит…

– Неладно – и я говорю. А только Кочубею крышка.

– За что же?

– За то, что гетман силен, всю старшину в руках своих держит, а Кочубей баба.

Головкин недоумевающе переспросил:

– Выходит, верного слугу царского, Кочубея, на плаху, а врагу честь оказать?

– Ну уж и честь! Мы ему такую честь и такую волю пропишем, как кот мышонку. Пускай покель бегает около наших зубов. А срок придет, когда деваться некуда будет, мы его –

ам! – и готово.

– Так-то так, а все же жалко, – поморщился Головкин.

– Золотые слова говорите. Как не жалко! Да уж такое дело. Государственность. Жертв требует государственность. Ничего не содеешь. Так уж, видно, Богом положено.

И Шафиров уселся за столик и деловито взялся за перо.

Глава 8
У панов

У гетмана собрались гости: Чечел, Кенигсек, Войнаровский, сотник Орлик – все свои люди, за «верные службы государю» весьма почитаемые князем Голицыным, восседавшим по просьбе гетмана за столом на хозяйском месте.

Чтобы оказать Дмитрию Михайловичу высшую честь, ему прислуживал известный среди казачьей старшины своей непомерной кичливостью, мокрый от пота, огненно-красный Орлик.

В полночь, изрядно упившись, князь собрался домой. Он поднялся, и тотчас же что-то неожиданно стукнулось об пол и покатилось.

Чечел ахнул:

– Батюшки мои! Перстень!

Ловко изогнувшись, Орлик подхватил перстень и в восхищении замер. Огромный черный бриллиант горел и переливался, как морская волна на закате солнца.

– В самый раз, – умилился сотник, осторожно примеряя кольцо на княжеский палец.

Хозяин поспешил переменить разговор. Его охотно поддержали остальные, сразу почему-то позабыв о перстне. Не вспоминал о нем и Дмитрий Михайлович. Осушив «посошок», он простился со всеми и уехал.

– К бисовой бабке, – подмигнул ему вслед Мазепа. – Подавись ты перстнем моим, только сиди в дураках, как до сей поры сидел.

Орлик отпустил челядь, собственноручно запер все двери и спустился в подполье.

– Прохаю, паны!

Из подполья поднялись Фома Памфильев и какой-то сухожилый, с гладко выбритым каменным лицом человек.

Все поднялись им навстречу. Гетман, пренебрегая своим высоким положением, как равному подал руку Фоме:

– Давненько не видались! Нехорошо забывать друзей. Да. Друзей забывать.

Орлик куда-то скрылся и тотчас же вернулся с бутылкой вина:

– Выпей с дорожки, пан атаман.

– Какой я пан! – грубо отстранил руку сотника Памфильев. – И пошто я один должен пить?

– Да ты у нас первый из первых гостей.

– Ишь ты! – буркнул Памфильев и хмуро потупился. – С коих пор первый стал?

С каждой минутой ему становилось все тяжелей. «К чему лебезят? – невольно думал он. – Или дураком почитают и сим обмануть хотят?» От этих мыслей атамана охватывала злоба. Заискивающие, но все же самодовольные лица окружили его. «Ай и попал же ты, Фома, к своякам! И впрямь, должно быть, чистый дурак, коли с панами связался». Захо-

телось вдруг стукнуть изо всех сил по столу, обругаться самой забористой бранью. «А та мымра сухопарая чего очи таращит? – с ненавистью стискивал он кулаки. – Хрястнуть бы тебя по рылу аглицкому, чтобы люлька в глотку залезла».

– Верно, вы познакомились уже в подполье? – с тревогой поглядывая на Фому, спросил Иван Степанович и кивнул в сторону сухопарого.

– Как бы не так! Обзнакомишься с ним, коли он перво-наперво по-нашенски не говорит. Даже чихнуть не может по-нашенски, все в платок нос свой тычет. А второе – больно спесив. Одно знает, сопит да люльку тянет.

– Они все такие, – успокоил Памфильева хозяин. – Только с лица спесивы. А так – добрые люди.

– Да кто он такой будет, никак не пойму?

– Секретарь, – услужливо разъяснил Чечел. – Английского посла секретарь. Вильсон прозывается. Ну, вроде дьяк приказа посольского.

– Во-он чего! – протянул атаман. – Какого же ему рожна от нас надо? Иль правду болтают, что Расеей владеть будут ляхи да шведы да со всего света иные люди?

Хозяин и гости замахали руками:

– Как можно! Что ты говоришь, атаман!

Прежде чем приступить к сидению, Орлик обошел все покои, – только после этого выступил наконец Мазепа. Он говорил не торопясь, взвешивая каждое слово, и обращался главным образом к Памфильеву.

– А что я задумал князем черниговским быть, не верь. То Кочубеевы выдумки. Ты кому веришь: Кочубею или мне?

– Покель тебе, – честно ответил Фома. – А там поглядим.

– Кохаю правду, – сердечно улыбнулся гетман. – А погодишь, и вот что будет: как подойдут шведы к Украине, так донцы и запорожцы ударят в тыл царевым войскам, а ватаги, с тобой во главе, крестьян замутят.

– Неплохо так, – согласился Фома.

– А когда замутят крестьяне, – говорил дальше Иван Степанович, – в ту пору англичане с флотом подойдут к Архангельску.

– Чего? – вскочил атаман. – Аглицкий флот?

– А как же иначе? Кто же на Севере вступится за убогих?

– Ну а ежели они в Архангельск войдут и больше не выйдут?

Все посмотрели на Памфильева как на сущего простофилю.

– Да зачем им Архангельск? Охота им была на край света забираться! Мало у них своей воды!

– Лес, лес, – посвистел носом Вильсон. – Нам Архангел не надо. Нам соль. Соль и договор лес, – сказал и снова плотно сомкнул резко очерченные губы.

Памфильев напрягал весь свой ум, чтобы разобраться в хитросплетениях панов. Но это плохо давалось ему. Ясно было только, что Мазепа затевает какую-то каверзу. Захотелось поскорее уйти к своим, чтобы там, в лесу, обо всем пораз-

думать как следует. А гетман продолжал так же размеренно и настойчиво излагать свои планы. Он принялся восхвалять Англию, ее короля, «коего великим коханьем народ кохает», и вдруг ударил себя по лбу:

– Ба! Я и забыл, старый дурень. Вот же ж… от народа английского – убогим человекам московским.

И, вытащив из кармана туго набитый кисет, подал его Фоме.

Атаман пощупал кисет – он был наполнен монетами – и с омерзением отстранился. Собравшиеся незаметно переглянулись. Англичанин раздраженно пожал плечами.

– Доброе робишь, атаман, что молчишь, – улыбнулся Мазепа. – Дело такое. Трудное и великое дело. Треба добре обдумать его. Да, добре обдумать.

Фома понял, что пересолил. «Не любят правды паны», – подумал он. И так как ему хотелось выведать все, он решил покривить душой:

– Злато, оно и убогим и станичникам всегда мать родная. Тут злато?

– Без обману! Самое настоящее, – просиял Иван Степанович. – Английское, королевское.

– Добрый гостинчик! Королю поклон от нас, от станичников.

«То-то же! – торжествовал про себя гетман. – Сразу холоп подобрел, как злато побачил».

Все пересели за стол. Вино подогрело беседу. Стало сво-

боднее и веселее. Иван Степанович достал из столика кипу бумаг и благоговейно разгладил и без того гладкий листок.

– Брат мой, – напыщенно изрек он, обращаясь к Фоме. – Не раз и не два доказал ты убогим верную свою службу. Потому доверяем тебе разослать со станичниками по всем местностям сию писульку.

Он откашлялся, высоко поднял брови и приступил к чтению:

– «Я, Карл Шведский, объявляю с сим всем и каждем от хвального всероссиского народа: что Королевское шведское войско токмо в том намерении в России прибыл, дабы с помощью Божьего всероссиский народ освобожден был от несносного ига… Таким способом и подобным образом Королевское шведское войско чтитца будет, дабы хвальный всероссиский народ для собственной своей благополучия и безопасности…»

Сложив листок вчетверо, Мазепа передал его Фоме и принялся подробно истолковывать написанную в письме тарабарщину.

Только перед рассветом покинули гости Мазепу. Последним, рассовав по карманам и за пазуху прелестные письма, простился с гетманом атаман. Иван Степанович крепко обнял Памфильева, перекрестил на дорогу и кулаком вытер сухие глаза.

– Прощевай, пан Фома!

– Прощевай, пан гетман.

Вернувшись в покои, Мазепа остолбенел: на столе лежал кисет с золотом.

– Хлуп! Хам! – разразился он бранью. – Ну, добре ж…

На следующий день Голицын порадовал гетмана свежей новостью:

– Готово! Обрядили голубчиков Кочубея с присными в цепи.

Иван Степанович тотчас же поехал домой. Там поджидали его Чечел и Орлик.

– Лихо! – свирепо заорал на них гетман. – Судья уже там, у Головкина. А все вы! Наказал я не допускать Кочубея к вельможам! Ведь теперь их прямо к царю повезут.

Накричавшись, он сел к столу и принялся писать цидулу Шафирову, многоречиво докладывая о ходе крепостных работ и о разных разностях. Только в последних строках он поплакался на сторонников Кочубея, якобы замышляющих на его жизнь. «Гарно бы, – писал он, – в Киев скорей доставить судью. Тогда в страхе, чтоб с Кочубеем лиха не сробили какого, меня, может, тревожить побоятся». А в уголочке, среди поклонов, меленьким-меленьким, бисерным почерком нанизал:

«Еще прошу принять от щедрот моих на украшение чудотворного смоленского образа пятьсот червонцев».

Цидула была отправлена с самим сотником Орликом, которому гетман наказал «без Кочубея не вертаться домой».

Орлик приехал к Шафирову в час очной ставки Кочубея с Искрой.

Судья и полковник, которых двое суток морили голодом, еле держались на ногах от смертельной слабости.

– Встать! – заорал к великому удовольствию сотника канцлер, когда узники попытались примоститься на краешке лавки. – Вишь, паны какие!

Обида и лютый страх окончательно пришибли колодников.

– Нуте-ка, молодчики, – набросился на них Шафиров, – гляньте-ка друг дружке в очи. Кому похвалялся Мазепа, что на здравие царское помышляет?

– Ему! – в одно время ткнули друг друга в грудь узники.

– Выходит, обоим? – ухмыльнулся Головкин. – Так и запишем, Петр Павлович: «Похвалялся обоим».

Начав валить друг на друга, узники не смогли уже выпрямиться. Запутавшись, они ссорились между собой и плели такие небылицы, что даже Орлик смутился. По их словам выходило, что гетман чист, как роса, и никогда ничего против царя не умышлял, а во всем виноваты сами они, оклеветавшие Ивана Степановича.

– Того ведь ждет гетман? – обратился Кочубей к Орлику. – Ну и скажи ему, что каюсь я. – И низко поклонился канцлеру: – Каюсь я. Отпусти домой старика.

– Ради бога! – начал просить и полковник. – Ради деток моих…

– Ладно, – сухо ответил Головкин. – Там видно будет. Ежели гетман помилует, то и государь не без милости.

Окрыленные надеждой узники, позабыв недавнюю жестокую ссору, ушли под руку в хату, служившую им временной темницей.

Глава 9
К Даше

Уже далеко за городом Фома сообразил, что поступил опрометчиво, не взяв переданного ему для станичников золота. Он прекрасно знал подозрительность гетмана и ту беспощадность, с которой он расправлялся со всяким, кто, раз связавшись с ним, вдруг осмелится не подчиниться его воле.

На всякий случай, чтобы уйти от греха, атаман свернул с дороги в обход. Не успел он после этого сделать и сотни шагов, как услышал глухо доносившийся издалека топот копыт. Так и есть, за ним! Упав наземь, он пополз на брюхе в камыши. От тяжелого духа подернутого тиной болотца перехватило горло. Он замер и тотчас с ужасом почувствовал, что пышная перина топи раздается под ним. «Затянет! – больно сжалось сердце. – Вот где могилу обрел…»

Он стал на четвереньки. Руки и ноги его медленно погружались в теплое месиво. Чтобы спастись, нужно было, не теряя ни мгновения, ползти назад или подмять камыш и соорудить из него нечто вроде гати. Но и то и другое было одинаково опасно. Малейший шум мог выдать его.

Топь дышала под ним, точно тесто в квашне. Стремясь держаться как можно легче, Памфильев набирал полную грудь воздуха и подолгу не дышал. Но это не помогало. Через несколько минут, томительных как десятилетие, борода ата-

мана уже касалась болота. Взмокшая рубаха липла к животу. По телу отвратительно скользкими змейками бежал озноб.

Где-то совсем близко переговаривались сердюки:

– Да я же говорил, что ему тут не путь!

– А следы чьи по непути?

– Где следы? Следы вправо идут.

Фома задыхался. Лицо его раздулось, жилы на лбу до того напряглись, что, казалось, должны сейчас лопнуть. Тело каменело и стыло.

Наконец по утихающему топоту атаман догадался, что казаки послушались товарища и свернули вправо. Выждав еще немного для верности, он осторожно перевалился на бок. Под ним шумно плеснула грязь. Левая рука глубоко, выше локтя, ушла в топь. Зато освобожденная правая схватила пук камыша и сунула его под туловище. Телу сразу стало свободнее.

– Шалишь, – прохрипел атаман. – Теперь не проглотишь!

Грязный, насквозь промокший и обессиленный, он выбрался на твердую землю. Но он и не подумал об отдыхе. Страх властно гнал его дальше, под надежную защиту леса. В одной из деревушек он добыл у знакомого казака коня и ускакал в свой стан.

Заждавшиеся станичники встретили его, как родного отца.

– Жив?

– В полном здравии!

Его ощупывали, разглядывали, заставляли говорить и смеяться, словно не верили, что перед ними живой человек.

– Что с нами содеется? – до глубины души тронутый вниманием товарищей, повторял Фома. – Наше дело такое – по краю пропасти шествуй, а срываться – ни-ни.

Как только улеглось волнение, атаман собрал круг и рассказал все, о чем слышал у Мазепы.

Послы от запорожцев и станичники крепко задумались. Сомнения Памфильева невольно передавались им. Вначале все шло толково. Высказывались по одному, не перебивали друг друга, тщательно взвешивая каждую мелочь. Но чем дальше, тем сильнее разгорались страсти. Незаметно образовались враждебные группы людей, появились коноводы. Над лесом повисла ругань. Собралась гроза, сулившая разразиться кровавым дождем.

– Обманут, – убеждал Памфильев орущих вокруг него станичников. – Мы биться будем, а паны нашими руками жар загребут. По всему видно – продает гетман и Украину и Расею ляхам да шведам.

В ответ ему кричали:

– Эва! Обманут! Не на таковских напали!

– А обманут, не тупы будут топоры наши и Мазепе с панами головы прочь снести.

– Поздно будет, брателки, – доказывал атаман. – То с одним царем да боярством спор ведем, а там приведется и с царем, и с королями, и с польскими панами на брань идти.

– И пойдем! Чего нам!

Произошло то, чего больше всего опасался Мазепа: запорожцы, донцы и станичники передрались и разбились на мелкие враждующие отряды.

Тяжело было одинаково и сторонникам и врагам Фомы. Не все ли они, как один человек, взлелеяли мечту дождаться Карла XII и идти с ним под началом гетмана воевать московских бояр? Не этой ли думкой жили они больше года? Не потому ли с такой радостью встретили атамана, что ждали услышать от него заветное слово: «Собирайтесь. Время приспело»? И что же оказалось на поверку? Сон. Пустота.

Как было тут не свихнуться и не запить с великого горя?

Памфильев переживал трудные дни. Подступали сомнения. А что, ежели он зря замутил станичников? Как быть, если вправду сыщется, что гетман станичникам брат и не напрасно давал в этом клятву? Атаман гнал от себя эти думки, но они не покидали его, продолжали тревожить.

А станичники между тем распоясывались вовсю. День и ночь они орали пьяные песни, нападали отрядами на отряды, с пьяных глаз грабили друг друга и убивали.

– Он! Он намутил! – все чаще гремело в лесу. – Мало ли что был лихим атаманом! Был, да весь вышел! Долой его!

Блуждая по лесу в стороне от недавних товарищей, Фома вспоминал былое. Кручинному взору его представился город Черкасск. Вольница стояла тогда под самым городом и вела жестокий спор: одни, хватаясь за ножи и фузеи, реве-

ли, что надо поверить богатым казакам, давшим обетование идти сообща с ватагой против царевых солдат, другие грозились перебить всех, кто вздумает якшаться с казаками-богатеями, третьи сами не знали, чего им нужно, и сеяли в рядах товарищей раздор и смятение. Памфильев молил, урезонивал, напоминал про стрелецкие бунты, когда Милославский, князь Хованский и Петр Толстой наобещали стрельцам всяких благ и обманули их, как только забрали в свои руки силу. Но его не послушались – самого обозвали Иудой. Спасибо еще удалось бежать, а то не снести бы Памфильеву головы. Правда, после, когда пророчество Фомы сбылось и ватага была побита, уцелевшие станичники разыскали атамана и ударили ему челом. Да что толку было Памфильеву от их поклонов!

– Эх, жизнь человечья! – стонал Фома, еще более удрученный воспоминаниями. – Эх, горюшко горькое…

Так, не замечая дороги, он зашел в далекие дебри. Ему хотелось уйти еще дальше. Но куда? Уйдешь совсем – потянется за тобой кличка Иуды. А останешься – убьют. Куда же деваться?.. Кому выплакать свое горе?

Атаман сел наземь, приткнулся к дубу и спрятал в руки лицо. Сон ли сошел на него или просто думка назад перекинулась, но увидел себя Фома пареньком в микулинской небогатой усадьбе. Вот он высмотрел купецкий обоз и скачет с донесением к помещику своему. Ночь темная, в лесу ведьмы ведут хороводы, леший гогочет. А вот и Микулин ска-

чет с ловчими. Рядом с Фомой – отец. Разгорается лютый бой. Людишки микулинские приучены к ночному разбою, от них не укроешься. Как всегда, победа достается помещику. Он доволен, весело хохочет, поглаживает бороду. В заботу ль ему, что при дороге валяется раненный в грудь купецкими людишками родитель Фомы… Эка беда, одним холопом меньше!

Памфильев вздохнул и перекрестился. Прошлое вставало перед ним день за днем: сестра, отданная Микулиным в полюбовницы ограбленному купчине, Москва, дядька, мятежный стрелец Кузьма Черемной… вольница… царевы остроги… соляные варницы Соловецкого государя-монастыря… Ох и скорбен же путь подъяремного русского человека!.. И терпелив же он, и живуч, дыбой венчанный, кнутом крещенный!

Горбится атаманова спина, странно подрагивая. Неужто плачет? Фома?.. Не может того быть! Не таковский человек, чтобы бабиться!

На лесные трущобы падает тишина. Ложится тишина и на сердце. Где-то далеко-далеко слышится топот. Глаза сжимаются, даже круги разноцветные плывут перед ними: так куда виднее. Вон кто-то скачет, летит на коне. Э, да то жена, Даша. От царевны Софьи Алексеевны с упреждением о лукавстве государевых ближних. На груди у Даши мешочек, а из мешочка уставились на Фому мертвые глаза дочки Лушеньки.

«Что ж, – думает Фома. – Не судьба, значит… Может, ей там лучше будет. Может, хоть там к убогим милостив Бог».

Он тряхнул головой, чтобы развеять призраки, и, поднявшись, тяжело зашагал прочь.

На опушке атаман остановился. Над ним расстилалось черное небо, запорошенное пылью Иерусалим-дороги[16].

Усталая голова кружилась, и в ней, как огоньки в паникадиле[17], гасли одна за другой живые мысли. Кто-то вдали свистнул. Где-то отозвались. Памфильев очнулся. «Станичники», – узнал он своих.

Он хотел было двинуться к ним навстречу, но тотчас же решился – зашагал в противоположную сторону. «Один путь: к Даше и сыну… Покудова я буду в отлучке, они перебродят и в разум взойдут… Тогда и вернусь к ним».

Он пять лет не видел жену, не знал, что она делает, как живет (да и живет ли еще?) в никому неведомом селе полковника Безобразова, куда привел он ее, вынужденный скрываться от царевых людей. А сын? «Чать, большой уже, – размечтался Памфильев. – Десятый годочек… Нынче уже Васьком не покличешь! Чего доброго, осерчает. Что ж, мы и по отечеству можем: Василий сын Фомин Памфильев. Ишь ты, сморчок! Чудно, мать честная…»

Ночь была на исходе, и Фома заторопился. Надо было ловить последние ночные часы: какой же это легковерный че-

---

[16] *Иерусалим-дорога* – Млечный Путь.

[17] *Паникадило* – подвесной светильник со многими свечами.

ловек доверяется дню! Только ночь и служила еще верой и правдой убогому люду российскому. Утро рождало тревоги и страхи. Мог встретиться на пути царев человек, а тогда – поклонись на все четыре стороны, вольный станичник. Не видать тебе долго, может быть, никогда красного солнца, дремучего леса.

Хлестнет ли дождь, черная ли ночь накроет землю монашеской манатеей[18], а то и любо убежавшему от холопьей неволи ватажнику. Реви, ураган, разверзнитесь, хляби небесные, мечи, молния, острые стрелы, гремите, громы! Любо то бунтарской лесной душе!

[18] То есть мантией, накидкой.

Глава 10
Хоромины «по-европейски»

Село Безобразовка на добрые полверсты раскинулось вдоль большака.

Из Москвы и в Москву тянулись большаком торговые обозы, проезжали именитые люди. Редко кто из них не останавливался в Безобразовке передохнуть. Бойкое было место, прибыльное.

Владелец села Безобразов не походил на своих соседей помещиков, державшихся за старину. Он побывал за рубежом, научился с грехом пополам болтать по-немецки, читал не только духовные, но и светские книги, зорко присматривался к жизни «просвещенной» Европы. На лугах у него паслись тонкорунные овцы. Свиней он завел английских, коров – холмогорских. На льнопрядильне кружились денно и нощно фландрские колеса, поражали любопытных трепалки и прочие диковинные иноземные выдумки.

Безобразов всей душой стремился следовать цареву совету и очень способствовал «гораздому разведению в России пользительных государству культур, пород и фабричных артей».

Но пуще всего удивляли заезжих обширные, ярко раскрашенные, с венецианскими окнами хоромины, обнесенные резным высоким забором, украшенным невиданными

птицами, зверями, херувимами. На парадном крыльце, по обе стороны дубовой, в мозаичных инкрустациях двери сыто развалились два льва из чистого лабрадора. Просторный двор сиял как зеркало – хоть смотрись в него.

Была еще у помещика думка соорудить фонтан, а воду пропускать через груди и рот мраморной девы, точь-в-точь как пришлось ему видеть во Флоренции. Но против этого восстал приходский священник: «Соблазн… вере поруха», – и ему пришлось уступить. Раз вере ущерб, ничего не поделаешь. Европе – европейское, а Божие – Богови.

Безобразов редко бывал в своем имении, жил больше в Москве, но обо всем, что делается в вотчине, ему каждую неделю отписывал приказчик Дмитрий Дыня.

Дыня был человек строгих правил. Все, что наказывал помещик, он выполнял с великим усердием. У него не очень-то потунеядствуешь или неправедной жизни предашься! Мигом отучит.

Иной раз, когда становилось невмочь от Дмитриевых забот, владельческие крестьяне снаряжали послов – просить пощады.

Выборные долго мялись у ворот, дожидаясь приказчика. Но тот не спешил, как не спешил в подобных случаях сам Безобразов. У Дыни все повадки и даже голос точь-в-точь походили на господарские. К тому же Бог и ростом и силой его не обидел: ввысь у Дмитрия два аршина двенадцать, вширь на какой-нибудь ноготочек поменьше. Бывало,

легонько ткнет в губы суставом согнутого пальца – и баста: выплевывай зубы.

Вдосталь насладившись смирением ожидавших его людишек, Дмитрий вперевалочку выходил на крылечко, отставлял ногу и долго любовался носком жирно смазанного дегтем ялового сапога.

– Ну-с? – спросит и сладко зажмурится, будто ему девки пятки чешут.

– Потому, благодетель Митрий Никитич, как по закону…

– В оброчное содержание, Митрий Никитич, дозволено нам по закону землицу брать.

– Ну?

– Потому челом бьем… Не перечь нам ту землю оброчной почитать.

– Так-с… Дале-с?

Крестьяне совсем лишаются дара речи. «Какого ему еще „дале-с" надо? – ежатся они. – Все быдто обсказали».

– Так мы, Митрий Никитич, токмо по закону…

И тут Дыня ошарашивает всех одним и тем же непонятным ответом:

– А иезуиты?.. Их знаете? Они у себя всему голова. Людишки же ихние суть упокойники. – Он умолкает и, насладившись произведенным впечатлением, назидательно говорит: – То-то ж! Закон для вас – володетель ваш. Вы же все в володельческой воле. Как упокойники вы. Вот вам и весь закон.

С тем послы и расходились.

На самом краю Безобразовки, у околицы, мог бы заметить проезжий человек убогую землянку, более похожую на звериную нору, чем на жилье. Крестьяне, если приводилось проходить мимо, незло подшучивали:

– У нас на селе двое хоромин: для торговых гостей на господарском дворе да еще вот Дашкины терема. Вон как богато живем!

В «хоромінах» Даша жила уже пять лет. Никто не знал, откуда она, как попала в село, кто ее муж. Она объявила себя сиротой без роду без племени, а про мужа сказала, что был он гончаром, пока не взяли его в рекрутчину, а с тех пор, как угнали воевать со шведами, пропал.

Так как солдаток в то время было на Руси видимо-невидимо, Даше поверили. Дыня внимательно оглядел женщину, пощупал мускулы, сунул даже ей зачем-то в рот палец и, убедившись, что работать она может, вписал в крепость и отрядил в скотницы.

Работала она от зари до зари, питалась, как птица небесная, – чем придется, гнула спину и перед Дмитрием, и перед всеми, кто был позажиточнее, и изо все сил старалась никого не прогневить. Но унижалась она не ради своей выгоды, а заботясь о Васятке. Тому прислужит, этому угодит, глядишь – сунут мальчонке просяную лепешку или луковичку. Все же подспорье.

Она и сына учила быть ласковым со всеми, держаться ни-

же травы и тише воды.

– Богатеи, сыночек, всем в мире заправляют, – внушала она мальчику. – На них земля держится. Приветят – и сыт будешь. Осерчают – с голоду ножки протянешь.

Еще водила она Васятку по праздникам в церковь и заставляла усердно молиться о здравии путешествующего раба Божьего Фомы. Однажды она подарила ему где-то заработанный алтын.

– Береги, родименький, сей монет. Их ежели десяток набрать, эх, сколько гостинчиков тебе накупить можно!

Васька долго, с почтительным удивлением разглядывал подарок.

– А где их, алтыны те, добывают?

– Горбом, сыночек, горбом.

– Как же ты добыла, а горба нету?

– Глупенький ты еще… Вырастешь, уразумеешь. Робить надо, тогда и алтыны будут.

– А ты не робишь?

– Роблю, сынок. Ой, как роблю!

– Пошто у тебя алтынов нету?

– Такая уж моя доля, сынок…

Васька сунул алтын под камень и каждый вечер перед сном приходил любоваться им. Поблескивающая на лунном свету монета казалась лучшей из всех побрякушек, виденных когда-либо им. Наигравшись вдоволь, он прижимал алтын к щеке и предавался мечтам. Ему виделись высокие сто-

почки денег. Они росли, сливались, весь мир наполняли веселящим душу звоном. Он и сам пока не знал еще, что бы сделал, если бы мечты его сбылись. Но это не тревожило его. Слушать бы только умилительный медный звон, наслаждаться медным сиянием, катить по дорожкам, один за другим, без счета, чудесные круглячки и чувствовать себя полновластным хозяином их!

– Эка забавушка, Господи!

Но годам к восьми Васька начал понимать значение денег. Кое-что он уже добывал сам.

Ласковее его на всем селе не было мальчика. Уходит ли женщина в поле и не на кого ей оставить малых ребят, захворает ли кто или нужно постеречь чей-нибудь огород – всюду Васька тут как тут. За «добру душу» его кормили, одаривали разным тряпьем, «жалели». Он и убогим не дерзил – одинаково заискивал перед всеми. Но как-то так выходило, что бедные люди в случае нужды редко находили его. Зато там, где дом полная чаша, он всегда вертелся на глазах у хозяев.

Наконец он до того осмелел, что решился на самостоятельный шаг.

Он уже давно искал случая попасться на глаза целовальнику Луке Лукичу. Вначале было боязно. Шутка ли! Лука Лукич первым богатеем слыл по всей округе, здоровался за ручку не только с Дыней, но и с приезжими гостями торговыми и с самими приказными. Легко ли предстать в убогости своей перед таким лицом?

Увидев однажды Луку Лукича, прогуливавшегося с Дмитрием Никитичем в лесу, мальчик набрал в черепок земляники и как бы невзначай очутился перед целовальником.

– Ты откудова взялся? – спросили оба.

– Ягодку воровал! Солодкая ягодка. Вот откушайте.

Целовальник и приказчик взяли по ягодке.

Мальчик надулся.

– Иль жалко? – улыбнулся Лука Лукич.

– Пошто брезгуете? Кушайте еще на добро здоровье. Люблю я вас, дядиньки!

Дмитрий Никитич и целовальник переглянулись.

– Пошто любишь-то?

– А вы богатеи… У вас, видать, много алтынов.

Ответ этот окончательно развеселил друзей. Лука Лукич внимательно оглядел мальчонку. Васька стоял, заложив ручки назад, нахмурив низкий, сдавленный в висках лобик, и в свою очередь не спускал с целовальника своих маленьких мутноватых глаз.

– Чего робить можешь?

– Все могу, дядинька.

– А ко мне в кружало[19] хочешь пойти сидельчиком?

– Как не хотеть!

Так решилась Васькина судьба. Он стал подручным в кабаке Луки Лукича.

---

[19] *Кружало* – питейный дом, кабак.

Кружало постоянно было полно. День и ночь густо клубились в нем облака табачного дыма, тошнотворно пахло сивушным перегаром. Васька всегда был при деле. Никто даже не знал, спит ли он когда-нибудь. Кроме него прислуживал еще один золотушный паренек, Пронька, но на этого все давно махнули рукой.

– Истукан! – ревел иногда выведенный из терпения Лука Лукич. – Ирод! Когда же ты проснешься, поганец!

Пронька на мгновение оживлялся, переставлял мисочки с закуской и снова начинал клевать носом.

– Выгоню, дьявол! Не погляжу, что племянник мой.

– Воля твоя, Лука Лукич…

А Васька тем временем так и летал по кружалу. Гость слова не успеет вымолвить, как сидельчик уже подносит заказанное. Поэтому заезжие и любили мальчонку. Иные даже предлагали Луке Лукичу за него отступного.

Но целовальник не отдавал сидельчика. Да и Васька никуда бы от него не ушел. Ему неплохо было в кружале. Пришлись по сердцу непрестанная сутолока, бесконечные беседы гостей о торге, о Санкт-Питербурхе, поставленном на болоте и костях человеческих, и невесть еще о чем – малопонятном, но всегда заманчивом.

Проньку Васька презирал и ни во что не ставил. В одном лишь он завидовал ему: «Почему так? Я и ловок, и во всем умельчик, а как в хоромины господарикам служить, – не меня кличут, а Проньку?»

Не выдержав, мальчик обратился как-то к Луке Лукичу:

– Дядинька!

– Чего, касатик?

– А чего я просить хотел у тебя…

– Проси.

– Пошто Пронька служит в хоромінах, а меня туда не пущают?

Целовальник нахмурился:

– Мал еще. Подрастешь, уважу.

С тех пор Васька не отставал от Луки Лукича, и он так ему надоел, что кабатчик в конце концов сдался.

С замирающим сердцем пошел Васька за хозяином в хоромины.

То, что он там увидел, превзошло все его ожидания. В богато убранной просторной светелке, стены которой были увешаны картинами, сидели за длинным столом пьяные купчины и проезжие вельможи. На коленях у них орали непотребные песни простоволосые нагие девушки.

– Господи… и Кланька тут… и Машка… – придя немного в себя, шептал сидельчик. – Ишь ты, сколь их набилось! Спать надо, а они…

Гости играли в зернь, пили вино, мяли и тискали потные девичьи тела.

– Сидельчик! – восхищались они приходом Васьки. – Ай да Лука Лукич… ну и уважил! Подь сюда, паренек, мы тебя, всем на радость, мигом оженим.

– Оженишься? – довольный тем, что угодил гостям, легонько ущипнул целовальник Ваську за подбородок.

– Я не умею. А научишь, оженюсь.

К утру сидельчик немного освоился с новой обстановкой. Когда же гости пожаловали его двумя алтынами и деньгой, он и вовсе развеселился. Отоспавшись, он побежал к матери:

– Во! Эвона, сколько денег!

Узнав, откуда привалила сынишке такая благодать, Даша ничего не сказала. Только стала еще бледнее и чересчур усердно высморкалась в подол.

Васька достал заветный алтын, вместе с новыми сбережениями завернул его в тряпочку и убежал обратно в кружало. В чуланчике, где стояла лавка, служившая ему постелью, он выдолбил в бревенчатой стене отверстие и бережно сунул деньги в щелочку. Вечером он отправился «на работу» уже совсем спокойный.

Так постепенно Васька привык к новому делу и не только не гнушался им, но полюбил, потому что оно было доходное, сытое и веселое.

Очень дорожил «ночным торгом» и Лука Лукич. В иную неделю «хоромное дело» приносило ему столько барышей, сколько не насчитывал он в кружале за месяц.

Не был в обиде и Дыня, которому целовальник выделял немалую толику от щедрот своих. Но больше всех доволен был сам Безобразов, получавший львиную долю выручки от «арендателя».

Да! Помещик не зря побывал за рубежом.

Вернувшись в Россию, он немедленно пожаловал в свою вотчину, сам отобрал наиболее пригожих девушек и отдал их в полное распоряжение Дыне. Он нисколько не стыдился своей затеи – наоборот, где только мог похвалялся хоромами.

– Чего другие с собою из-за рубежа привезли? Ни шиша! Умишком не вышли. А у меня и овцы, и свиньи, и льнопрядильня, и хоромины – все европейское.

Узнав о хоромах, к полковнику явился прибыльщик Курбатов.

– Вы, сказывают… это самое учинили у себя на селе?

– Учинил, государству на украшение, добрым людям на пользу. Как в Европе, точь-в-точь.

– А ведомо вам, – напомнил Курбатов, – что в Европе за сие дело государство подать берет?

– Ах ты! – шлепнул себя по бедрам полковник. – И верно ведь!

– А верно – платить надо.

Точно исчислив доходы от «хоромин», Курбатов определил пошлины и выдал помещику орленую бумагу, узаконившую «промысел». Узнав, что затею Безобразова благословило государство, батюшка, до того косившийся на «хоромины», тоже примирился с ними.

Каждые полгода хоромины обновлялись «свежими силами». Дыня с неделю обучал новых «медресе» «деликатным

манирам» и отправлял их «на действо». Отбывших страшную повинность девушек награждали одежонкой, рублем денег и выдавали замуж. Женихи пытались иногда отказываться от «порченых» невест, но их так жестоко пороли при всем народе, что они невольно становились сговорчивее.

Глава 11
Странничек Божий

Нежданно-негаданно в Безобразовку прискакали царевы люди, никого не предупредив, переписали всех лошадей. Случись такая беда к Покрову, еще бы туда-сюда. Но на дворе стояла весна, люди готовились к пахоте, и кони нужны были в поле, как руки.

Дыня взвыл:

– Грабеж! Чистый грабеж!

Он бросился к офицеру, но тот не пожелал с ним разговаривать. В городе челобитную не приняли, а гонец, поскакавший в Москву к Безобразову, тоже вернулся ни с чем.

– Брань есть брань, – утешал батюшка Дмитрия Никитича. – Она, яко смерть, невозбранно шествует…

Вскоре во всей вотчине осталось не больше двух десятков коней, да и то таких, что едва на ногах держались от старости. Село точно вымерло. Красная горка стала похожа на Страстную седмицу. Даже забулдыжные пьянчуги приумолкли и не вылезали из своих берлог.

– Как быть? – рвал и метал приказчик. – Разор! Чистый разор!

Ни до чего не додумавшись, он созвал к себе на двор крестьян и, забыв про спесь, жалостливо, словно не приказчик, а какой-нибудь челобитчик, стал просить помощи:

– Ты, Григорий, старик хозяйственный… присоветуй, будь ласков… А ты, Егор, чего голосу не подаешь? Весна на дворе ведь! Пахать-то надо…

– Так мы што? – разводили руками люди. – Нешто мы насупротив? Весна, она пахоту любит.

– Божья воля и государева, Митрий Никитич…

Убедившись, что старики ничего не могут посоветовать, Дыня вскипел, набросился на них с кулаками:

– Смутьянить? Дармоеды!

Он ни с чем вернулся домой и, едва переступив порог, заорал на хворавшую второй месяц жену:

– Прохлаждаешься, боярыня?

– Ноги не ходят, – простонала она.

– Перечить? – задохнулся от гнева приказчик. – А я говорю – врешь! Ходят! Врешь!

Выместив злобу на ни в чем не повинной женщине, он послал за священником и Лукой Лукичом.

До вечера, не прикасаясь к вину и закуске, думали все трое, чем помочь горю, – и наконец придумали. Через несколько минут село разбудил набат. Крестьяне бросились к церковной площади.

Дыня уже стоял подле паперти, как всегда величественный и недоступный. Когда все собрались, он с расстановкою обронил:

– Утресь, до зари, и стар и млад выходи в поле.

Ранним утром, в подрясничке и в ветхой, непомерно великой скуфейке, беспрестанно сползавшей на глаза, Памфильев выбрался из лесу на безобразовское поле.

Над Тверцой клубился туман. Чуть озаренная низким солнцем трава розовела и блистала росой. В небе неподвижным пятном застыл коршун. Где-то далеко у колодца скрипел журавль.

Памфильев приложил к бровям ладонь.

– Что за притча? – пожал он плечами. – Никак очами стал слаб? Словно бы народ копошится, а коней не вижу.

Он остановился и прислушался. До него доносились крики, злобная брань.

– Никак в толк не возьму… Будто пашут, а будто и нет.

Он прошел еще с десяток шагов и вдруг оторопел: «Наваждение!» Но сомнения не оставалось: в сохи были запряжены люди.

Несмотря на утренний холодок, согбенные спины густо дымились паром. То и дело из грудей вырывались надрывные хрипы. Женщины через каждые два-три шага падали в грязь и жутко выли.

Атаман едва сдержался, чтобы не броситься им на помощь.

«Эх, станичников бы сюда моих на малый часок!»

Быстро, точно спасаясь от соблазна, он направился к землянке жены, негромко позвал:

– Даша! А Даша!

Никто не ответил. Фома сунулся в провал. Его обдало запахом цвелой земли и гниющего дерева. В землянке никого не было.

«Должно, и Дашу впрягли, – догадался он. – Не инако так».

Он долго бродил по межам, тщетно высматривая жену. Вдруг он услышал свист бича и чей-то сдержанный плач. Она!

На миг потеряв рассудок, Фома выхватил нож. Но благоразумие взяло верх. Он спрятал нож и тихими шагами подошел к пахарям.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Дыня поморщился.

– Аминь, странничек Божий, – буркнул он и нетерпеливо затопал ногами на приостановившихся людей: – А вы чего рты поразинули! Нно, пшли!

Утершись рукавом, Даша взглянула на Фому и, как стояла, рухнула в грязь.

– Вот! – чуть не плача от злости, пожаловался приказчик, не рискуя при «Божьем странничке» ударить женщину. – Все они такие!.. Как на себя робить, откуда токмо силы берутся, а для володетеля – нету их.

Атаман сочувственно покачал головой:

– Баба, она, вестимо… Куды ей разуметь? Одно слово – баба. – И неожиданно метнул земной поклон Дыне: – Христа для, добрый человек, дозволь порадеть, замест сей бабы

запречься.

К вечеру заданный Дыней урок был выполнен.

Чисто вымытая, в стареньком заплатанном сарафане, Даша встретила мужа у околицы. Окруженный людьми, Фома проникновенным голосом рассказывал на ходу какие-то тут же придуманные небылицы про святые места. Чуть поодаль, прислушиваясь к каждому его слову, двигался приказчик. Атаман был начеку, ничего лишнего не говорил, и успокоенный Дыня наконец отстал.

Даша поклонилась мужу:

– Для Бога, покажи милость, странничек Божий, пожалуй ко мне щец отведать сиротских.

Глава 12
Под личиной молитвенника

Пришла беда – растворяй ворота.

Не успели еще крестьяне хорошенько отдохнуть после пахоты, как пронесся слух, будто в Безобразовку идет крестьянишка Сердюков забирать убогих на царево дело.

Имя Сердюкова хорошо было знакомо во всем Тверском крае. Многие своими глазами видели, как сам государь ходил с ним по глухомани, тщательно изучая и занося на карту попадавшиеся на пути озера и реки.

– Эк, – злорадно перешептывались враги всяких новшеств, – до чего довело его якшание с басурманами! Ум за разум зашел. Со смердом связался и реки разыскивает.

Но Петр не из прихоти отважился на опасное странствие.

– Покель не найдем водной дороги к Санкт-Питербурху, – не раз говорил он ближним и купчинам, – не быть крепкой нашей новой столице. Ни тебе провианту, ни пушек не доставить болотами в срок. Добро так сотворить, чтобы сесть в ладью на Москве-реке, а высадиться на Неве.

Как только нужные места были исхожены и обследованы, началась спешная работа. Двадцать тысяч людей были собраны с дальних и ближних сторон для рытья канала, чтобы связать приток Волги – Тверцу с рекой Цной.

В число работных попали и безобразовцы. Царевы люди

отобрали всех, кто был крепче и помоложе.

Больше месяца работные не подавали о себе никакой весточки. Потом их стали отпускать на побывку. Крестьян было трудно узнать – до того измучили их непосильная работа, голод и лихорадка. Но на все расспросы они отвечали с большой осторожностью, а то и вовсе отмалчивались. Начальники предупредили, что разорят их дома и угонят в острог жен и детей, если кто-либо посмеет «хулить царево дело».

Всегда выходило так, что шедшие на побывку в село крестьяне встречались у околицы с Памфильевым.

Атаман низко кланялся всем, благословлял крестом и приглашал к себе. Крестьяне охотно шли к нему – знали, что у него найдется не только доброе слово, но и котелок жирных щей, ломоть ржаного хлеба, просяная лепешка.

Фому уважали на селе все: и убогие, и люди средние, и даже приказчик с Лукой Лукичом. Дыня довольно потирал руки:

– Сущий клад сей странничек Божий! И кроток, и велелюбив, и поущать убогих к смирению дар премудрый имеет…

– Смиренный, смиренный, – подшучивал целовальник, – а к Дашке липнет! Знает, где солодко.

– Он и не хаживает в землянку, – вступился Дмитрий за странника. – Весь тут под небом. А что милостив к ней, то не в хулу, потому как первую ее тогда у сохи пожалел. Ну и прилепился душой.

Памфильев и в самом деле заходил в землянку лишь из-

редка. Большую часть времени он проводил за селом, на опушке леса, в душеспасительных беседах. Для всех он находил ласковое слово, с каждым приходящим делился трапезой. Но все же выходило так, что на первом месте были у него работные. Их он особенно привечал и относился к ним, как к малым детям. Часами, полный участия, слушал он их безрадостные повествования, а когда смолкали голоса, опускался на колени и, помолясь, приступал к «утешительному глаголу».

Он строго держался Святого Писания, ничего от себя не прибавлял. И только под конец исподволь переводил разговор на станичников. Он уличал их в неправедной жизни, в озорстве и «непотребствах», чуть ли не предавал анафеме. Но странно: слушая его, крестьяне каждый раз испытывали какое-то незнакомое чувство. Он так вдохновенно воспевал лесные трущобы, удалые набеги, развеселую долю бесшабашных людей, их пиры и потехи, что у работных сжималось сердце от зависти.

– Не по-Божьи жительствуют! – гремел атаман. – Нету у них ни отца с матерью, ни володетеля, ни царева дьяка. Сами по себе, как звери лесные. Нешто по-христиански в нощи обоз купецкий ограбить, а погодя, все поделив меж собой, пиры пировать непробудные?

Глаза слушателей жадно поблескивали.

– Все, сказываешь, за одного?

– Все! – обличающе подтверждал Фома. – Все за одного!

– И пища вобче?

– И казна одна?

Даша обычно сидела в сторонке – смирнехонько слушала. С тех пор как Фома объявился в Безобразовке, ей ни разу еще не привелось поговорить с ним по душам. Речи его и какая-то покорность судьбе, чуждая в былые годы, приводили ее вначале в умиление. Хотелось верить, что муж «одумался», вернулся к ней навсегда. «Да и куда уж ему лесная жизнь! – думала она. – Весь измаялся. И спина согнулась, словно бы и впрямь старец. И седой-то…» Она мечтала, что уйдут они как-нибудь ночью втроем с Васькой далеко-далеко, хоть в студеные земли, хоть к персидским краям, где они по-новому заживут, и никто никогда больше не тронет Фому. «Сподоби, Господи!.. Заступись, Царица Небесная, заступница-матушка, – заламывала она руки в безмолвной мольбе. – Верни мне, Христос, мужа мово».

Но проходили дни, и с ними надежды таяли. Вскоре Даша поняла, что атаман нисколько не переменился. Только вместо гордых и дерзостных призывов к возмущению произносил он не менее бунтарские слова под личиной молитвенника. У Даши осталось последнее средство образумить мужа.

Выследив как-то Ваську, бежавшего из «хоромин» в кружало, она увела его за околицу. Мальчик рассеянно глядел по сторонам и не проявлял никакого любопытства к поведению матери.

– Задаст мне дядинька, прознавши, что я от дела убег, –

вдруг спохватился он.

Его хмурое скуластое личико, синие дуги под глазами, изогнутые, словно коготки хищной птицы, пальцы, нетерпеливо загребавшие воздух, показались Даше совсем чужими. Она уставилась на сына – будто только теперь впервые по-настоящему разглядела его. Ничего, что напоминало бы в нем Фому, – ни одной общей черточки! «Чужой… как есть чужой, – смахнула Даша слезу. – Как такому открыться?»

– А ежели денег тебе, – догадался вдруг испуганно Васька, – ей-ей, мамка, нету!

– Мне, касатик, твоих денег не надо.

Мальчик сразу подобрел, прижался тонкими губами к материнской руке. Это умилило Дашу:

– Злая я, Васенька… потому и зло о тебе подумала. Прости, касатик. – И, трепеща от внутренней дрожи, она пролепетала: – Васенька… странничек Божий – родитель твой.

Разинув рот, Васька несколько мгновений стоял не шевелясь, потом пронзительно заверещал:

– Ро-ди-и-тель?

– Свят, свят… Да ты в своем ли уме? Замолчи! Люди услышат.

Мальчик воззрился на мать:

– Давно он?

– Чего?

– Родитель давно он мне будет?

– Экий несмышленыш, – улыбнулась Даша. – Как проро-

дил тебя, так и родителем стал.

– Ишь ты!

Неожиданно Ваське захотелось сделать отцу что-нибудь приятное.

– А у меня, скажи родителю, уже двадцать алтын да два гроша денег своих.

– Слава богу! Береги их, сынок.

– А я родителю дам…

Он вдруг замолчал и побледнел. Созревшее было решение порадовать отца «гостинчиком» – двумя алтынами – представилось глупым и каким-то обидным.

– Я родителю, мамка, чего-нибудь дам, – забормотал он. – После… когда большой буду.

Даше стало страшно. Бессмысленная Васькина улыбочка, пустые глаза, ощеренный рот – все это напомнило ей «порченого», которого она видела когда-то в церкви.

– А я тебе набрехал, – угрюмо отвернулся от нее Васька. – Денег-то нету.

Даша, сгорбившись и не сказав больше ни слова, пошла прочь. Последняя надежда ее развеялась. Не удержать Ваське подле нее Фому! Да ему и не нужен отец. Чужой. Подмененный…

Памфильев ждал Дашу у околицы. Против него сидел на корточках приземистый паренек, работный с канала. С явным смущением он слушал слова атамана.

– Так, сказываешь, знавал Черемного? – спросил он, на

всякий случай озираясь по сторонам.

Фома кивнул головой и вдруг улыбнулся:

– Об заклад биться готов, что ты родич близкий тому упокойнику-атаману, стрельцу беглому Черемному!

Парень вскочил, готовый пуститься наутек. Но ласковый взгляд Фомы удержал его на месте.

– Да, родич! – против воли вырвалось признание. – Отцом моим он был, царство ему небесное.

– Отцом?.. Так ты… Постой! Как же так? Неужто ты и есть Кузька тот самый?

Фома привлек к себе Кузьму и крепко обнял его. «Эк, ведь привел Господь брата сродного встретить!» – чуть не выболтал он вслух и сказал:

– Вот оно дело какое… Знавал я твоего отца-то, знавал! Как же…

Глава 13
Поклон от Фомы-атамана

Простоволосой, хмельной, распутной вдовицей шлялась осень по улицам и несусветным дорогам российским. Рытье канала Тверца – Цна подходило к концу. День и ночь, теряя последние силы, стучали кайлами, мотыгами и топорами работные люди.

А надсмотрщики неистовствовали:

– Не одолеть царева дела, ежели подлые людишки не перестанут измываться над нами, – жаловались они. – Ведано ли?.. Что ни день, то новые нетчики. Мор пошел на них. Хоть вой.

Пришлось заковать людей в цепи, учинить по всем дорогам рогатки. Из Твери и Новгорода на помощь крестьянам пригнали колодников.

– Канал? – в один голос взревели их коноводы. – Да пропади он пропадом! Пускай нам ноздри ране приделают вырванные, тогда мы и канал будем рыть.

За бунтарские слова их тут же жестоко выпороли. Но и это не заставило их молчать.

– Мы привычны, – хладнокровно говорили они. – Мы и дыбу видывали, и с самим князем-кесарем дружбу вели.

Крестьяне с благоговением слушали. А безобразовцы каждый раз вспоминали почему-то Фому.

– Ишь ведь! И про пищу вобче, и про казну едину колодники говорят… Ну как есть глаголы странничка Божьего!

Как умудрялись люди уходить в нети, никто не понимал. Крутом рогатки. У леса – конные, на дорогах – костры. Где тут бежать! И все же работные разбегались. Не могли удержать их ни цепи, ни зоркие служилые очи. Чтобы окончить работу в срок, пришлось взяться за женщин.

Не позабыли и Безобразовку.

Покуражившись ночку в «хороминах», офицеры забрали всех девушек, заковали их в наручники и за крепким караулом угнали на канал.

В тот же день, поздно вечером, беглый безобразовец Кузьма Черемной, прозванный Кисетом, встретился на условленном месте с Фомой.

– Не починать ли? – задал Кузька обычный свой вопрос. Как всегда, атаман посоветовал не спешить.

– Вы так поведите, чтобы девки из послушания вышли. Знаю, – вздохнул он, – за сие сечь будут. Зато к лучшему обернется. Озвереют бабы, тогда и почнем.

Однако атаман ошибся. Начать пришлось раньше, чем он рассчитывал.

Случилось так, что в Безобразовке остановилась большая сила торговых гостей. Люди были все именитые – таких Лука Лукич и Дыня дожидались месяцами.

– Как же быть? – схватился за голову целовальник. – Где девок найти?

Дыня знал всех мужчин и женщин Безобразовки по именам и в лицо. Но как ни старался он, больше десятка девушек и молодушек собрать было неоткуда.

– А мы вот каково сотворим, – придумал Лука Лукич, – гожих веди сей минут, а которые будут с изъянцем либо постарше, тех погодя сунь. Как в кружале – попервости даю я вино доброе, а погодя, как захмелеют, чего хошь подсовываю.

Ночью к Даше примчался сын.

– Мамка! Велено тебе в хоромины идти. Сам Дыня наказал.

Даша судорожно вцепилась руками в плечо мужа.

– Быть не может того!

– Ан может, – почти спокойно, с едва уловимым зловещим оттенком в голосе вымолвил Фома.

– Он может! – подтвердил Васька. – Он, мамка, все у нас может! Вон давеча…

И мальчик, захлебываясь от гордости, начал рассказывать о разных пустяках.

– А и богатеи же! – умилился он под конец, вспомнив о торговых гостях. – Меня один алтыном пожаловал. «Ты, говорит, выпей духом единым косушку, а я тебе алтын». А мне что. Я – как велят…

Но родители не слушали его. Памфильев что-то мучительно соображал. Он хмурился, ерошил бороду, глухо покашливал.

– Пойдешь?

– Нет!

– А послушание воле господарской и многотерпение куда же упрячешь? Иль бунтарить задумала с беспутным мужем своим?

– Не смейся, Фома.

– Не смеюсь. Плачу, Дашенька, а не смеюсь. Единый путь у нас, у горемычных, – в лес.

Он отстранил жену и быстрой поступью направился к дому Дыни.

Приказчик сидел у себя в горнице, что-то прикидывая на сливяных косточках. Посредине стола возвышался бронзовый, украшенный херувимчиками подсвечник, гостинец самого Безобразова.

Фома тронул сенную дверь.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

– Аминь… Эвон кто пожаловал! – обрадовался Дмитрий, увидев гостя.

– Бодрствуешь, раб Божий?

– Труждаюсь, молитвенничек, для Господа и володетеля своего.

Обводя долгим взглядом горницу, атаман задержался на прибитой к стене карте Вышневолоцкой судоходной системы:

– А сие тоже для Бога иль для мамоны?

– И для Бога, и для возвеличенья торгу, – наставительно

разъяснил Дыня. Он не без кичливости ткнул пальцем в точку, обозначавшую Москву: – Тут государь наш Петр Алексеевич умыслил в ладью сесть и… – Палец скользнул по извивам Москвы-реки и перекинулся к Волге. – Волга обильна река, да гнуса в ей много…

– Черти, что ль, водятся?

Дыня вздрогнул:

– Не поминай ты их к ночи! Разбойные водятся. Одолели, треклятые.

Ноготь Дыни остановился у кружочка, обозначавшего Тверь.

– Отсель Тверца зачинается. И доселева вот. Тут-то и роют. Тысяч с двадцать народишку перемерло! – Он спохватился, что сказал лишнее, и опасливо поглядел на гостя. – Страсть, сколь перемерло их от болезней… А как сию яму прорoют, каналом реченную, упадет Тверца в Цну, и пойдет вода Цною до самого до озера Ильменя, из Ильменя ж по Волхову. Эдак вот до самой до Ладоги. А тут тебе, околь Ладоги, и Санкт-Питербурх… Ловко?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.